

Мотив одиночества в русской поэзии: от Лермонтова до Маяковского*

Л.Л. БЕЛЬСКАЯ,

доктор филологических наук

Заклеймившие и отвергшие символизм футуристы выбросили за борт вместе с мистикой и арсенал символистских тем, образов, приемов, в том числе и мотив одиночества, который был им, в основном, чужд, а если иногда и мелькал, то ради или самоутверждения, или оригинальных ассоциаций, или эпатажа: “Иду / один рыдать, / что перекрестком / распяты / городовые” и “А я / на земле / один / глашатай грядущих правд” (Маяковский), “Я белый ворон, я одинок...” (Хлебников), “Как же мне, одинокому волку, / не окликнуть далеских волчат” (Асеев), “Я одинок в своей задаче, И оттого, что одинок, Я дряблый мир готовлю к сдаче, Плетя на гроб себе венок” (Северянин), “Все я ли один на свете, –/Готовый навзрыд при случае...” (Пастернак – от имени “плавучего сада”). Б. Пастернак и в зрелые годы будет определять одиночество как “рококо”, то есть свойство далекой и изысканной старины, и лишь в позднем возрасте “участь одиночек” станет ему ближе: “Я один, все тонет в фарисействе” (“Гамлет”), и он сформулирует афористическое суждение – “И одиночеством всегдашним / Полно все в сердце и природе” (“Осень”, 1949).

Но, пожалуй, самая гениальная формула одиночества вырвалась у молодого Маяковского: “Я одинок, как последний глаз / у идущего к слепым человека” (1913). Не потому ли, что он подавлял это чувство в себе, старался казаться “глыбой”, позже – “агитатором, горланом, главарем” и наступал “на горло собственной песне”. (Любопытно, что таким его воспринимала Цветаева, а Ахматова видела его другим: “одинок и часто недоволен” – “Маяковский в 1913 году”.) Эту формулу не удалось превзойти и “Председателю земшара” В. Хлебникову, который сравнивал себя то с одиноким лицедеем, то с одиноким врачом: “Я одиноким врачом / В доме сумасшедших / Пел свои песни-лекарства” (1992) и чаще остальных будетлян переживал печаль одиночества – с неожиданными лермонтовскими аллюзиями: “Я вышел юношей один / В глухую ночь {...} И было одиноко, / Хотелось друзей, / Хотелось се-

*Окончание. См.: Русская речь. 2001. № 4, № 5.

бя”, “Ты грозишь, чтоб одинок / Стал утес...”, “Брошен в сумрак и тоску, <...> / Шумя, пристаёт одинокий челнок”, “Сосна одиноко / Темнеет”.

Заметим, что поэты Серебряного века в своих романтических устремлениях нередко ощущали родство с Лермонтовым, посвящали ему стихи и целые книги (“Сестра моя – жизнь” Пастернака), цитировали его строки в качестве эпиграфов, пользовались лермонтовскими реминисценциями: “Он проклял мир и, вечно одинок...” (Бальмонт), “Бреду в молчаньи одиноким”, “Я шел один...” (Брюсов), “Сидишь забытый и один...” (Анненский), “В полночь выхожу один из дома”, “Побредешь один, и сир, и наг” (Бунин), “Я в лес бежал из городов. Вот я один с самим собой...” (Гумилев), “Своей тоски – навеки одинокой... он не отдаст” (Волошин), “Я опять один в тревожном мире” (Кузмин), “Стою один среди равнины голой <...> Но ничего в прошедшем мне не жаль” (Есенин), “И там, где прежде парус одинокий / белел в серебряном тумане моря...” (Ахматова). А в посвящениях писали об одиночестве поэта. Для М. Кузмина Лермонтов – “беглый, горестный чернец”: “К земле и людям равнодушен, / Привязан к выбранной судьбе, / Одной тоске своей послушен, / Ты миру чужд, и мир – тебе” (“Лермонтову”, 1916). А Бальмонт, говоря о Лермонтове, сталкивает “опального ангела, с небом разлученного” и “узывного демона, разлюбившего ад”, и трижды повторяет: “Он был один, когда душой алкал...”, “Он был один, когда, полуребенок, / Он в Байроне своей тоски искал”, “Он был один, как смутная комета...” (цикл “Лермонтов”, 1917).

Г. Иванов прибегает к парафразе первой строки “Выхожу один я на дорогу”: “И Лермонтов один выходит на дорогу, Серебряными шпорами звеня” (“Мелодия становится цветком”...). Надо сказать, что эта лермонтовская элегия вызвала в русской поэзии бесчисленные вариации и отзвуки, вплоть до отдельных словосочетаний и стихотворного размера – 5-стопного хорея (от тютчевского “Вот бреду я вдоль большой дороги” до есенинского “Не жалею, не зову, не плачу” и пастернаковского “Гул затих. Я вышел на подмостки”. См.: Тарановский К. О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики // *American Contributions to the Fifth International Congress of Slavists. The Hague, Mouton, 1963*). И продолжается этот элегический ряд до сих пор: “Выхожу один я. До могилы / Не дойти. Темно и нет дороги” (Соснора).

Мотив, ставший в творчестве многих поэтов начала XX века центральным, выдвигается и в названия стихотворений – “Одиночество” (Брюсов, Блок, Бунин, Гумилев), “Трилистник одиночества” (Анненский), “Один” (Белый), “Одинокий лицедей” (Хлебников), “Одинокая” (Ходасевич), “Одиночество в любви” (Мережковский).

И как в XIX веке, раздались “два одиноких голоса” с противоположных сторон – но не в социально-культурном аспекте (Лермонтов и Кольцов), а в эстетическом. Два поэта – классик и модернист, традици-

оналист и новатор – Иван Бунин и Марина Цветаева, в лирике которых тема одиночества стала сквозной.

И. Бунин “примеривался” к этой теме с юности, то объявляя, что любит людей, но любит одиноко (“одинокый везде и всегда”, 1891), то каюсь, что не знает и не любит их, а впоследствии, оглядываясь назад, скажет: “Я молод был, безвестен, одинок / В чужом мне мире, сложном и огромном” (1916). В его стихах есть и “радость одиноких дней”, и тоска “одинокого сердца”, и на каждом шагу попадаются одинокие предметы и явления (в отличие от блоковских, преимущественно реальные и конкретные) – хутор и поселок, дом и скамья, путь и путник, кустарник, крест, след, челн, голос, скитания и “я один” – в темном доме, в лесу, в полях, безмолвной ночью, в бесприютном мире, и “тихи гробового одиночества роковые дни”.

На этом традиционном фоне (недаром Бунина называют “классиком рубежа двух эпох”) редко мелькает нечто более своеобразное, необычное: “Не потому ль, что одиноко / Я заглянул в лицо небес?” или “Меж тем как в доме, тихом как могила, / Неслышно одиночество бродило...”. Необычно и то, что поэт создал два стихотворения “Одиночество”, разделенные почти десятилетием (1903 и 1915). Одно – лирическое, другое – эпическое. Первое передает переживания лирического персонажа-художника, покинутого возлюбленной и живущего на осенней даче: “Я на даче один. Мне темно / За мольбертом, и дует в окно”, “Что ж, прощай! Как-нибудь до весны / Проживу и один – без жены..”, “И мне больно глядеть одному / В предвечернюю серую тьму”. Во втором повествуется об “иностранке, компаньонке”, купавшейся в море “вечером холодным” с надеждой, что кто-нибудь ее увидит, и о писателе, случайном прохожем, который благодушно, после сытного обеда наблюдает за купальщицей и с усмешкой думает: “Полосатое трико / Ее на зебру делало похожей”. Словно встретились два одиночества и разошлись, не узнавши друг друга. И лишь на обрыве “чернела одинокая скамья”.

Второе стихотворение при всей его ироничности кажется безнадежнее первого, в котором происходит некий катарсис: “Хорошо бы собаку купить”. Должно быть, его ощутил И. Северянин, отметив в одном из своих “медальонов”, адресованном Бунину, “благу одиночества отраду” (“Бунин”, 1925). Сошлюсь также на замечание М.Н. Эпштейна: “глубже всего поэт переживает одиночество человека среди природы и одиночество природы без человека” (Эпштейн М.Н. “Природа, мир, тайник вселенной...”. Система пейзажных образов в русской поэзии. М., 1990. С. 235), но с одним уточнением – и в присутствии человека, так как бунинская природа обычно сияет по-пушкински “красою вечною”, не обращая внимания на присутствующих людей, как в позднем “Одиночестве”.

Если И. Бунин устремляется к объективному миру во всем его раз-

нообразии и многозвучии, многоцветной гамме и благоухающей свежести, то М. Цветаеву влечет в “страну Мечты и Одиночества”, и творчество для нее “одиночества верховный час”. Но себя она предпочитает характеризовать не как “одинокую”, а как “одну”. Уже в первом своем сборнике “Вечерний альбом” (1910) юная гимназистка утверждает, что ей “скучно одной – и с людьми” и что поэт должен быть “свободный и один, вдали от тесных рамок!”. В “Юношеских стихах” (1913–1915) она осмысливает свое “я”: “Я одна с моей любовью / К собственной моей душе” и страдает: “Захлебываясь от тоски, / Иду одна, без всякой мысли”. Это слово *один / одна* становится ключевым в цветаевской лирике, обозначая не только одинокость, но и единичность, единственность, исключительность: (“Новый год я встретила одна <...> А единая была – одна! Как луна – одна, в глазу окна” – 1917) и охватывая все и вся: *один* народ, свет, дар, сын, обряд, час, вздох, звонок, плащ, башмачок; *одна* луна, судьба, страна, весна, мать, тревога, молвь, заслуга, опаска, струна, лучина, половинка; *одно* солнце, горе, лицо, крыло; “Бог один за всех”, “с одной вселенной”, “одна с тобой земля”, “есть одна трава такая”, “закон один: одно к другому”, “один во всей вселенной” (но не анчар, как у Пушкина, а друг) – до последней максимы: “На твой безумный мир Ответ один – отказ” (“О, слезы на глазах!” – 1939).

Случается, цветаевские стихи строятся на повторах этого определения с разными определяемыми. Таковы, например, “Гению” (1918) и “В мире, где всяк...” (1924):

1. Крестили нас – в одном чану,
Венчали нас – одним венцом,
Томили нас – в одном плену,
Клеймили нас – одним клеймом.

Поставят нам – единый дом,
Прикроют нас – одним холмом.

2. В мире, где всяк
Сгорблен и взмылен,
Знаю – один
Мне равносилен.

<...>

Знаю – один
Мне равномогущен.

<...>

Знаю – один
Ты – равносущ
Мне.

В первом стихотворении “один” выступает в значении прилагательного “тождественный”, “тот же самый”, сопутствуя героине и ее “гению” всю жизнь – от крещения до могилы и противопоставляя “нас” неназванным “им” – остальному миру. Во втором – это слово в роли местоимения означает “только”, “исключительно”, объединяя равноправных “я” и “ты”. “Поэтику предельности” Цветаевой определяет пристрастие к гиперболам и антонимам, к градации однокоренных слов и синонимов, к оппозиции форм единственного и множественного числа, что отражает философскую концепцию поэта: личность, охваченная страстью и творчеством, противостоит земной обыденности, людской пошлости (См.: Зубова Л.В. Поэзия Марины Цветаевой. Лингвистический аспект. Л., 1989. С. 28–29, 104–105.)

Убеждение в своем поэтическом избранничестве не исключало, а, наоборот, усиливало в Марине Цветаевой чувство отверженности: “Меж всех отверженств Нет – такого сиротства в мире!”, “Сад – одинокий, как сама...”, “Мне совершенно все равно, Где совершенно одинокой Быть”. Трагедия абсолютного одиночества-сиротства вылилась в чеканную формулу: “Круговую порукой сиротства – Одиночеством – круглым моим!” (цикл “Стихи сироте”, 1936). С бездомной птицей сравнил Марину Цветаеву С. Маршак: “Пусть безогляден был твой путь / Бездомной птицы-одиночки...” (“Марине Цветаевой”), а Б. Пастернаку виделась ее заброшенная могила в Елабуге (“Памяти Марины Цветаевой”).

Серебряный век был насильственно оборван в 20-е годы, и “детям страшных лет России” (Блок) уготованы были трагические судьбы – гибель, эмиграция, самоубийства. В наступившем “постсеребряном”, советском периоде, при тоталитарном режиме тема одиночества как проявление “буржуазного индивидуализма” была не просто закрыта, а запрещена, на что поэты прореагировали по-разному. Так, Маяковский с энтузиазмом отрекся от нее, провозгласив: “Плохо человеку, / когда он один / Горе одному / один – не воин...” и призвав сплываться в коллектив, в партию, ибо “единица – вздор, / единица – ноль...”. А вот другой отклик:

На полпути нам путь пресек
Жестокий век. Но мы не ропщем, –
Пусть так! А все-таки, а в общем
Прекрасен этот страшный век!
И пусть ему не до стихов,
И пусть не до имен и отчеств,
Не до отдельных одиночеств, –
Он месит месиво веков!

Такое двойственное суждение было высказано Софьей Парнок че-

рез год после смерти Маяковского, поэтесса провидчески разглядела, что новому веку не до “отдельных одиночеств”. Последние их отголоски еще слышатся в 30-е годы: “Но главное – сказать бы мог, что в этой мути несуразной Несправедливо одинок!” (Клычков), “болеет разум одинокий” (Заболоцкий), “О, как сердце одиноко / в переулочке чужом!” (Берггольц). Но эти “индивидуалисты” поплатятся за свое недоверие свободой и жизнью.

“В буднях великих строек” одиночество было загнано в подполье, в закоулки сознания и памяти, в запертые ящики письменных столов (“Нас много, одиноких. Вся Россия” – Сельвинский, 1937). Публично разрешалось разве что бродить по ночам “одиноким гармоним” да осуждать капитализм, где человек одинок, и быть счастливым одному наедине с природой.

И только с конца 50-х годов, во время оттепели, стали публиковаться стихи с названиями “Одиночество” (М. Светлов, Е. Винокуров, Вл. Соколов, Р. Рождественский), “Одинокий дуб” Н. Заболоцкого, “Одинокая птица” Л. Мартынова, “Любовь к одиночеству” Евг. Евтушенко, “Одинокая” К. Ваншенкина, “Переобучение одиночеству” Б. Слуцкого. И посыпались как из рога изобилия поэтические сентенции, афоризмы, парадоксы: “Как узнать мне безумно хочется Имя-отчество одиночества!” (Светлов); “Одиночество – чудо. Оно означает – ты жив” и “Одиночество любят тем больше, / чем сильнее ненавидят его” (Евтушенко); “Согласьем разных одиночеств / составлен дружелюбный уклад” и “О, одиночество, как твой характер крут!” (Ахмадулина); ср. у И. Эренбурга: “Как, одиночество, твой голос чист!”; “Один и ночь – анализ одиночества...” (Сулейменов), “Одиночество – это не гибель, / это мужество, / черт побери...” (Горбовский); “С тобою быть – вот жизни цель, / Но одиночество прекрасней” (Дольский); “Одиночество есть человек в квадрате” (Бродский), “А я и в множестве один, / на мне одном сто тысяч вин” (Чичибабин).

Пусть завершат этот очерк строки Давида Самойлова, выражающие мироощущение людей 20-го столетия и перекликающиеся с поэзией “золотого” и “серебряного” веков:

Познать свой век не в силах мы!
Мы в нем, как жители тюрьмы,
Заброшены и одиноки,
Печально отбываем сроки.

Грустный итог, но другого пока нет.

*Цфат,
Израиль*

ЯЗЫКОВЫЕ ПАРАДОКСЫ М. КУЗМИНА

А.В. ГИК,

кандидат филологических наук

М. Кузмин – один из немногих поэтов начала XX века, несвязанность которого литературным каноном не приводит, как его коллег, к громкому бунтарству (См.: Марков В.Ф. О свободе в поэзии: статьи, эссе, разное. СПб., 1994. С. 27–47). Однако поэт, находясь в самом центре поэтических исканий, остается свободным в выборе индивидуальных средств художественной выразительности.

Мы выдвигаем тезис о парадоксальности поэтики Кузмина. Желание художника слова, как на кубистическом полотне, изобразить мир во всех его проявлениях одновременно заставляет поэта нарушать правила и законы грамматики и лексики (не случайно О.Э. Мандельштам говорил о “сознательной небрежности” поэта).

Нельзя забывать, что в отдельные периоды творчества Кузмин применяет технику зауми и пишет стихи в стиле “бессмыслица” (например “Псковской август”), а его рассказы 1920-х годов, такие, как “Голубое ничто”, “Пять разговоров и один случай”, “Печка в бане” сближаются с поэтикой обэриутов (См.: Gheron G. Mixail Kuzmin and the Oberiuty: an Overview // Wiener slawistischer Almanach. Wien, 1983. Bd. 12. S. 87–101).

Под языковыми парадоксами мы понимаем различные виды семантических и синтаксических преобразований поэтического языка, ведущие к нарушению семантической однородности текста, умышленному нарушению логических связей и, тем самым, расширяющие взгляд на текст.

Традиционным средством нарушения семантической однородности текста является антонимия. Кузмин активно использует антонимы как основной лексический способ выражения антитезы:

Ах, я ли, темный, войду в тот светлый сад; Громче и слаще мне уст молчание, / Чем величание / Хоров звонких; Печаль с надеждой руки соплетают; Смешались чудно жертвы и убийца; Разлукою любовь кто утвердит?; Мне грозный ангел в милом лице мнится; Ядом отравлены – мирные волны (Здесь и далее цит. по: Кузмин М. Стихи. СПб., 1996).

Кузмин производит посредством антонимических пар зеркальные преобразования строк: *Измены здесь для примиренья, / А примиренья для измен.*

Обычно противопоставляются названия таких явлений и предметов,

которые соотносительны, принадлежат к одной и той же категории объективной действительности как взаимоисключающие понятия. Кузмин включает такие названия в однотипные синтаксические конструкции – антонимы занимают позиции однородных членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства, сказуемые) и связываются сочинительной связью (союзной или бессоюзной), иногда они включаются в сравнительные обороты. Несоответствие грамматического и смыслового развития строфы, подкрепленного параллелизмом стихотворных строк, создает эффект обманутого ожидания:

Я – не певец, – твои я слышу звуки,
В них все: и ад, и рай, и снег, и страсть, и муки.

Чаще всего поэт использует антонимические определения одного объекта или явления: *То бесстыдны, то стыдливы / Поцелуев все отливны; И вот вы [предки] кричите сотнями голосов, / погибшие, но живые; Долгий путь, ты мне несносен и желанен; И город стихал, / Вблизи, но далекий; Я тебя никогда не встречу, / А может быть, встречу опять; Печаль моя – упорна и тупа* – в этом примере ироничной аллюзии “квазиантонимичные” определения *упорна* и *тупа*, так же как и определяемое слово *печаль*, вступают в звуковое взаимодействие (*n-yn-yn*).

В некоторых случаях антонимичные пары поднимаются до символов: “*Чтоб вновь родиться, надо умереть*”, – считает поэт.

Кузмин использует прием “мнимого” противопоставления. Например, такие слова, как *неверный* и *милый*, которые в узуальных контекстах были бы противопоставлены, у Кузмина синонимизируются:

Под шапкой взгляд неверных, милых глаз; Милые руки, глаза неверные, / Уста любимые; взгляд неверных, милых глаз; Достанем все, чего лишь надо нам, / И жизнь кипуча и мертва; Волшебник странный и прелестный; Жуткий, сладкий сон...; Но сердце помнило, сердце знало, / И ему было сладостно и обидно; И в сердце была любовь и тревога; Павильоны строил зодчий – / Я, тоскуя и шутя.

В традиции платоновского и романтического двоемирия два начала бытия предстают как сущность и кажимость, истина и ее “отзвук искаженный”. У Кузмина символика материального мира как “теней идей”, как отображения вечно и первично Сущего, дополняется иной: два облика Единого разделены временно, они ждут грядущего “синтеза” (ср. сборники Вяч. Иванова “Кормчие звезды” 1903 г. и “Прозрачность” 1904 г.): *Но в небе голубое дно / Взгляну я с улыбкой земною; Ах, неба высь – лишь глубь бездонная; Вверх взгляни на неба свод: все светила! / Вниз склонись над чашей вод: все светила!*

На антонимичных парах выстраиваются целые стихотворения, объектом описания которых становятся неоднозначные явления, такие, как

любовь или софия:

Эрос, всех богов юнейший
И старейший всех богов,
Эрос, ты – коваль нежнейший,
Раскователь всех оков.
{...}
Отрок, прежде века рожденный,
Ныне рождается.
Отрок, прежде хаоса зачатый,
зачинается!
Все, что конченным снилось до века,
век не кончается!
теку, неподвижная,
лежу, текучая,
золотая и темная
раздробленная и целая,
родная и непонятная,
слепая пророчица,
косное желание.

Итак, употребление антонимичных выражений свидетельствует о восприятии поэтом действительности во всей ее противоречивой сложности. Не случайно Кузмин боготворил творчество Моцарта, который мог за “смешными реквизитами буффонады” рассмотреть “вторжение всемогущего демиурга” (Чичерин Г.В. Моцарт. Исследовательский этюд. Л., 1973. С. 225). Высказывание Чичерина о Моцарте можно, без сомнения, применить и к поэтическому творчеству Кузмина: “...что отличает его [Моцарта] от всех других композиторов – соединение космизма и реальной жизненности, оргиастическая всеобщность и конкретная психологическая правда в органическом слиянии...” (Указ. соч. С. 243).

Именно музыке Кузмин приписывает свойство антиномичности. Вот как он описывает игру оркестра (речь идет о заключительных тактах оперы Вагнера “Тристан и Изольда”):

Когда на каждый звук и мысль
Встает, любя, противовес:
Рожок с кларнетом говорит,
В объятьях арфы флейта спит,
Вещает траурный тромбон –
Покойникам приятен он.

Явление антонимии лежит также в основе оксюморона, в котором создание нового понятия производится соединением контрастных по значению слов: *Горю, но не сгораю; святая бедность и веселый голод.*

Один и тот же объект моделируется одновременно в двух противоположных категориях:

И твердят посупленные брови
О древнейшей, небывалой нови.

Иначе обстоит дело в следующих строках: *Мы знаем, что все – тленно / И лишь изменчивость неизменна.*

В данном контексте возникает какая-то загадочная и иначе невыразимая третья категория (*изменчивой неизменности*). Возможно предположить, что существенна не сама эта категория, а именно ее неуловимый характер.

Итак: непримиримость составных частей оксюморона ведет либо к раздвоению предмета высказывания, либо к построению внерассудочных категорий, которые, в свою очередь, позволяют построить мир, недоступный для понимания обычным человеческим разумом.

Классический тип оксюморона отличается еще одним свойством: его внутренняя противоречивость ведет к изменению смысла какой-либо из его составных частей, к метафоризации. Так, фраза: *Ты видишь слепыми глазами / Мои не слепые глаза*, – заставляет нас предполагать, что либо слово *видеть*, либо слово *слепые* употреблены не в их прямом значении. Текст построен так, что, действительно, кузминский герой видит не физиологически, а духовно.

К такому же семантическому удвоению ведет употребление одного и того же слова в разных грамматических формах:

Лишь трое слыхало, как павиший закричал, / Лишь трое видало, как кричавиший упал.

Слова из первой строки *павиший* и *закричал* “обмениваются” семантическими и грамматическими свойствами. Во второй строке от глагола образуется форма действительного причастия прошедшего времени *кричавиший*, а от причастия – глагольная форма *упал*.

Слова *павиший* и *закричал* взаимопределяются, варьируя и интенсифицируя значения друг друга. В данном случае Кузмин использует прием изменения рамки наблюдения. В контексте изменяется положение наблюдателя относительно реального актанта (лица, обозначенного глаголом) описываемой ситуации. Фокус внимания читателя переносится с одного действия – *закричал* на другое – *упал*.

В других случаях поэт, изменяя грамматическую и лексическую форму слова, показывает объемность ситуации: *Любящий, любовь и любимый; Чей мертвящий, помертвелый лик...*

Изменение рамки наблюдения встречается и в атрибутивных конструкциях: *Солнце далеко от пышного летнего жара, / Сосны и ели далеки от жаркого лета*, – меняется местами главное и зависимое слово (*летний* и *жара*). Такой “обратимый” троп определяет в первой стро-

фе *солнце*, а во второй – *сосны* (нельзя не заметить, что данные слова находятся в состоянии звуковых перекличек: *с–о–н*). Один объект, одна ситуация рассматривается с разных сторон – это один из синтаксических и семантических способов “расширения” поэтической картины мира.

Кузмин использует и другие лексические средства для создания многомерного мира.

Так, одно стихотворение из цикла “газэлы” построено на противопоставлении разных коммуникативных ролей человека. Кузмин еще раз напоминает, что жизнь изменчива и непостоянна, и неизвестно, где найдешь, где потеряешь: *Я – заказчик, ты – купец: нам пристала взглядов мена. / Ты – прохожий, я – певец: нам пристала взглядов мена*. Поймать или остановить мгновение почти невозможно. Надо лишь попытаться описать все формы и проявления стихии. Что, собственно говоря, и делает поэт:

Хрусталь на прежнее стекло
Воображение налагает,
Изменчивое так светло!

Сложные прилагательные, которые активно использовались в практике символистов, у Кузмина характеризуют не только синестетическое, но и полярное восприятие мира: *прелестно-глупые цветы театральных училищ; чисто-порочные; Ведь в каждой лужице – осколки / Стеклянно-алых облаков; Настал для нас огнисто-льדיстый, / Морозно-жаркий русский рай!; Расслабленно-живительной тоски / Весенней ни на что не променяю; Какой-то русский, тепло-сонный яд / Роднит меня с душою старовеера*.

Активно используется Кузминым индивидуальная сочетаемость слов: *на жирно летающих голубей; лохматая звезда*.

Взаимопревращение и взаимообмен свойствами лежит в основе метаморфоз Кузмина (не забудем, что классический перевод “Метаморфоз” Апулея был сделан именно Кузминым). Например, в стихотворении 1924 г. кошка превращается во льва и наоборот:

Так эфира бурей станет,
Буря нежит ток эфира,
Кошка львом и кошкой лев.

Идея обмена с синтаксического, семантического, наконец, логического уровней переносится и на сюжетный:

Иногда в груди одного [человека]
оказывается два сердца,
потом оба перелетают в другую грудь,

как мексиканские птички.
Если их руки встретятся,
кажется,
что из пальца в палец
переливается тепло и кровь.

⟨...⟩

Тихо капает кровь в стаканы:
Знак обмена и знак охраны.

В 20-е годы контрастный мир Кузмина приобретает черты неопределенности. В этой связи нельзя не рассмотреть такой прием, как использование вопросительных предложений, в которых уже даются предполагаемые варианты ответов. Автор приглашает к сотворчеству читателя: выберите возможные варианты поведения:

Невнятен смысл твоих велений:
Ломиться ль, проклинать, бороться ль?

Варианты места действия:

Золотые полотнища спущены
(В сердце, в воде, в камыше?)
В колодце ль видны звезды, в небе ль?
Вдруг
легкий и теплый, словно дыхание, голос
(из долины, с неба?) пропел...

Рассмотренные противоречивые построения являют в художественном тексте поэта механизм, вырабатывающий либо качественно новые моделирующие категории, либо переосмысляющий категории существующие.

Языковые парадоксы Кузмина находят свои корни в парадоксальности, неустойчивости самой жизни:

Вот сделалось все шатким и непрочным,
Капризным, переменчивым, как жизнь.

⟨...⟩

Покой устойчивый подобен смерти.

Идея юродства в творчестве А. Платонова

ИНЦЮАНЬ ЛАЙ

Основные произведения А. Платонова, написанные на рубеже 20–30-х годов (“Сокровенный человек”, “Усомнившийся Макар”, “Чевенгур”, “Котлован”), объединяет особое мироощущение, переданное глазами полоумных, чудаков, странников, созерцающих новую действительность. Центральной идеей в творчестве писателя становится идея юродства, но не религиозного – “Христа ради”, а юродства “ради новой жизни”. В русской литературе образ юродивого и его поведение всегда, как отмечает А.М. Панченко, построен на разоблачении антихристианских норм в понимании этого юродивого (Лихачев Д.С., Панченко А.М. Смех в древней Руси. Л., 1984. С. 4).

Вопрос о “юродстве” у Платонова не раз поднимался критиками и исследователями. Так, американский ученый Томас Сейфрид рассматривает косноязычие героев Платонова как “одну из форм речи, которая уподобляется словам юродивых” (Перевод наш. См.: Seifrid T. Andrei Platonov / Incertainties of spirit. P. 69). Наш подход к “юродству” у писателя опирается на три критерия. Юродство изучается нами как образ персонажей, как речь персонажей и как позиция автора. Рассматривая юродство как речь персонажей, важно отметить, что такие слова, как *юродство*, *чужачество*, *маска*, *кривляние*, по замечанию М.М. Бахтина, получили специфическое и узкое бытовое значение. Они часто употребляются для описания языка Платонова.

Отстаивание писателем гротесковой природы языка выводит его на путь чисто социальной или политической сатиры.

Что касается позиции автора, надо заметить, что обвинения критиков 30-х годов, например, Е. Ермилова и А. Гурвича, сводились к тому, что Платонов заслуживает названия певца юродивых. Результатом такой критики было вынужденное молчание писателя в последующие годы.

Критика и обвинения литературных чиновников были направлены на способ изображения героев в платоновской прозе. Причисление его героев к христианским в 30-е годы автоматически означало исключение писателя из сферы современной литературной жизни. Так, в статье А. Гурвича под названием “*Андрей Платонов*” отмечалось, что основные черты изображаемого Платоновым человека – это “христианская юродивая скорбь”, “великомученичество” и т.д. Но А. Гурвич сказал только полуправду. Его главной задачей было отделить “непреходимой пропастью” “платоновских героев от действительных героев”, чтобы затем прийти к выводу: “Платонов не народен именно потому, что в его произведениях не нашли своего отражения истинные чаяния и огромные творческие силы русского народа. Платонов – антинароден, поскольку истинные качества русского народа извращены в его произведениях” (Шубин Л.А. Андрей Платонов // Андрей Платонов. Чевенгур. М., 1991. С. 414).

Юродство рассматривалось писателем как выход из реальности, а для критиков 20–30-х годов оно стало проклятым штампом, что невольно заставляло писателя бороться с официальной позицией.

Поскольку между писателем и его героями нет существенной дистанции, Платонов часто сближает авторскую речь с речью своих героев. Здесь необходимо отметить, что юродство как образ персонажей, как язык персонажей и как образ автора или суждение автора служит способом постижения мира даже при внутреннем отторжении от него.

С учетом этой трансформации представляется возможным рассмотреть идею юродства в творчестве Платонова как явление русской духовной традиции, как способ социального обличения и саморазоблачения героев в смеховой культуре России, как особенность платоновского стиля, метафоризирующего и абсурдирующего действительность, как способ отражения мирозерцания и мировоззрения автора.

Из всех произведений Платонова повести “Сокровенный человек” в наибольшей степени свойственна традиция смеховой культуры. Герой данной повести Фома Пухов объединяет в себе одновременно черты сироты, странника, мастера, юродивого, плута, как и Макар Ганушкин, герой повести “Усомнившийся Макар”, усомнившийся в бюрократической системе, которая поверхностно представляет массу, народ и, на самом деле, оторвана от них. Он выступает как дурак, обличающий *научного человека*, который олицетворяет произвол, пороки. Обе повести, помимо традиций смеховой культуры, объединяют размышления героев (иногда и самого автора) о своих отношениях с природой, обществом, историей, революцией. Устойчивая жизнь разрушена, а герои не могут смириться с существующим положением вещей и погружаются в созерцание и обличение общественной жизни.

В повести “Сокровенный человек” неистовый скептик и кустарный иронист Фома Пухов убежден, что “он природный дурак”, ему не нуж-

на политическая учеба, “он хочет жить свежим”, “каждый день для него – сотворение мира”. В романе “Чевенгур” пролетарский рыцарь Дон Кихот Степан Копёнкин признает, что “он дурак, но живет вполне свободно”. В цитируемых словах также проявляются элементы осмеяния мира. В этом юродство тесно соприкасается с шутством, ибо основной постулат философии шута – это тезис о том, что все – дураки, а самый большой дурак тот, кто не знает, что он дурак (Лихачев Д.С., Панченко А.М. Указ. соч. С. 128). В юродстве содержится парадоксальная идея о том, что “дурак, который сам себя признал дураком, перестает быть таковым” (Там же. С. 128). Копёнкин, как и Фома Пухов, *умствующие дураки!*

“Котлован” обладает неким сходством с “Чевенгуром”, которое заключается в том, что герои находятся во власти своей мечты, они строят утопию в пустыне в кратчайший срок. Но все эти мечты заканчиваются крушением. Принципиальное отличие “Чевенгура” от “Котлована” в том, что чевенгурщики бездельничают в своем воображаемом рае, потому что у них вроде все есть – *свобода, равенство и братство*. А что касается рабочих, строящих *дома всеобщего счастья* в повести “Котлован”, они, зараженные поверхностной марксистско-ленинской идеей, “ради энтузиазма” все время роют землю, котлован расширяется благодаря приказу бюрократа в четыре раза, затем в шесть раз, еще больше.

Если “Чевенгур” представляет собой страну скитальцев, страну бесконечной свободы и духовных далей, то “Котлован” являет собой могилу мечтателей, страну жуткой покорности и порабощения религиозной жизни государством, по выражению Н.А. Бердяева. В этом смысле “Котлован” является антитезой “Чевенгуру”.

С другой стороны, если его герой Воцев выступает в “Котловане” как аскет-созерцатель действительности, который привержен духовным категориям нищеты и страдания, то Жачев – как юродивый-плут. Он принадлежит к типу “отрицательных героев”, который занугиивает всех остальных. Он так же, как и Степан Копёнкин в романе “Чевенгур”, то неистово изобличает всех, кто не умеет жить храбро, то плачет “громкими слезами” от жалости к девочке, которая не успела пожить в доме всеобщего счастья. Жачев время от времени “раскулачивает” бюрократа Пашкина, унося из его дома продукты. Если судить по поступкам и антипоступкам Жачева, то можно утверждать, что безногий урод Жачев является юродивым, который, по традиции русской народной культуры, вызывает и боязнь, и уважение среди крестьян.

Театрализованные речь и поступки Жачева иногда выражают и авторскую позицию. После ликвидации кулаков и смерти девочки Насти Жачев говорит: “Я теперь ни во что не верю”. Отсюда понятно, что автор хочет показать, как несостоятельно строительство гармонического общества, которое хотят создать на основе насилия, социального не-

равенства. Голос Жачева совпадает с голосом автора. Он звучит не так веско, по сравнению с исправленным вариантом под редакцией Н. Корниенко. В этом варианте Жачев произносит окончательный приговор коммунистической идее: “– (...) Я теперь в Коммунизм не верю! (“Здесь и теперь”, “Котлован”). Здесь Жачев выступает как юродивый-разоблачитель.

Анализ произведений Платонова показывает, что в образах чудачков и полоумных прослеживается связь со смеховой традицией древней Руси – осмеяние себя и своей среды, однако с той разницей, что платоновские герои погружены в современные им социалистические или философские идеи. Такие юродивые, находящиеся за рамками христианского мышления, близки дуракам, шутам, плутам в интерпретации М. Бахтина. Следует дополнить, что их основная функция – обличение, предупреждение, внутренний протест и даже пророчество. Зачастую они становятся носителями авторских точек зрения.

В период создания рассматриваемых произведений Платонов прошел путь от участника-энтузиаста строительства коммунизма до зрелого сатирика, стороннего наблюдателя окружающей действительности, поэтому идея юродства подверглась его индивидуальной трансформации и приобрела характер “политического” или, точнее – “интеллигентского” юродства, затрагивающего понятия анархизма, сектантства, преодоления смерти, апокалипсиса.

Отстранение юродивого от культуры, от социальных норм находит свое выражение в специфических жестах и косноязычии. Совершенно справедливо заметил А.М. Панченко существующую взаимосвязь юродивого и его речи, при которой, отчуждая себя от общества, юродивый и язык свой отчуждает от общеупотребляемого языка.

Анализ текстов Платонова выявляет не только пародирование или иронию над сугубо официальным или партийным языком, но и существование особого “юродивого” стиля языка. Этот стиль демонстрирует явный сдвиг в употреблении языковых форм. Традиционные понятия стилистических приемов и тропов не в состоянии истолковать платоновский стиль, который стремится выйти за рамки синтетической сущности русского языка. В языке Платонова одновременно проявляются две противоположные тенденции: приращение смысла и стяжение смысла, что приводит к абсурду, гротеску, комичности, необходимых для изображения изнаночного мира. Приемы, связанные с приращением смысла – это разновидность плеоназма, идеологема. А при стяжении смысла – мы наблюдаем такие приемы, как конкретизация абстрактного, одушевление неодушевленного, механизация одушевленного, динамизация глагола действия, использование оксюморонов.

Проиллюстрируем, как в прозе Платонова происходит сдвиг языковых форм при использовании приема *динамизации глагола действия*. Под термином *динамизация* мы понимаем глагол действия, который

выполняет функцию глагола движения. Как разновидность стяжения смысла динамизация глагола действия отражает своеобразное платоновское видение действительности: *“Ликвидировав кулаков в даль, Жачев не успокоился, ему стало даже труднее, хотя неизвестно отчего”*; *“– Некуда жить, вот и думаешь в голову”* (“Котлован”); *“На улице шуршали по земле люди”* (“Чевенгур”).

Приведем примеры другого стилистического приема – *оксюморона*: *“Мы все свое тело выдавливаем для общего здания, а он дает лозунг, что наше состояние – чувшь, и нигде нет чувства ума”*; *“⟨...⟩ отчего я всегда ум чувствую и никак его не забуду?”*; *“Прушевский ничему не возражал своим чувством”* (“Котлован”).

В этих примерах выражена оппозиция ум–чувство, что является воплощением феноменологии русского юродства. Своеобразие платоновского юродства состоит в том, что оно не имеет соотнесенности с глубокой христианской правдой. Платоновские герои-дураки живут интуицией, прислушиваются к своим чувствам и, пытаясь отказаться от *чувства ума*, все-таки его всегда чувствуют. В приведенных фразах легко заметить синтез ума и дурачества, в результате чего возникает парадоксальная картина мира, воспринятого юродивым сознанием.

Само время заставило Платонова обратиться к идее юродства. Странники, свободные духом, ни к чему не прикрепленные вечные путники Платонова, ищущие свою обетованную землю, обладают глубокой русскостью. При этом духовный поиск, правдоискательство, характерны в первую очередь для душевных бедняков–юродивых в изображении писателя.

Тайней
Тайвань





*“Новый реализм”
и язык современной русской литературы*

*С.М. КАЗНАЧЕЕВ,
кандидат филологических наук*

Утверждение о глубокой и исторически сложившейся литературоцентричности отечественного общественного самосознания сегодня вряд ли нуждается в доказательствах. Начиная со времен митрополита Илариона, “Повести временных лет” и “Слова о полку Игореве” и до самого недавнего времени именно искусство художественного слова, изящная словесность были в центре не только культуры, но и государственности. Литература на протяжении долгих веков являлась определяющим началом, вездесущим живительным раствором, скрепляющим и организующим народное бытие и сознание. Писатель всегда играл в жизни России особую роль, занимал особое положение, на которое обратил внимание еще Пушкин словами своего героя Чарского: “Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа... У нас поэты не ходят пешком из дому в дом, выпрашивая себе вспоможения” (Египетские ночи // Пушкин А.С. Собр. соч. в 10 тт. М., 1981. Т. 5. С. 241).

Сказанное вовсе не означает, что высокий статус литератора всегда оставался у нас неизменным. Безусловно, были времена и даже эпохи, когда престиж его опускался, и все же литература, вплоть до позднесоветского периода, занимала у нас центральное положение в иерархии духовных ценностей.

Осуществление принципа литературоцентризма было бы вряд ли возможно без особой роли русского языка в этом процессе. Наш язык за последние десять–пятнадцать лет претерпел ряд существенных мно-

гообразных изменений. Для нас наиболее важно обратить внимание на процессы, происходившие в языке произведений художественной литературы.

Язык беллетристики во многом является отражением живой разговорной речи: трудно создать произведение, пользующееся читательским интересом, не обращаясь к средствам и материалу той самой речи, которая бытует в народе на данном этапе жизни. И все-таки происходившее в сфере литературного языка обладает своей собственной спецификой.

В начале 90-х годов XX века вместе с ломкой советских идеологических стереотипов была предпринята попытка демонтировать сложившуюся литературную структуру. Под видом отказа от метода “социалистического реализма”, который, кстати, никогда и не становился руководящим принципом и догмой для наших писателей, происходило дистанцирование от классической традиции, и прежде всего от ценностей, сформированных русской литературой XIX века.

Главным направлением в литературе был избран постмодернизм. Его представители основываются, схематично говоря, на двух исходных принципах: а) применение в качестве исходного материала в литературной работе других произведений, их текстовых фрагментов, образов, стилистики и деталей; б) ироническое или ёрническое переосмысление культурного наследия предыдущих эпох. Творческая активность таких авторов, как Вик. Ерофеев, Дм. Пригов, Вл. Сорокин, В. Пелевин, Б. Акунин и др. получила резонанс в издательских кругах, находила отклик у значительной части читателей, была отмечена рядом престижных премий. Наибольшим успехом сочинения постмодернистов пользовались у зарубежных исследователей русской литературы. По остроумному замечанию критика Н. Ивановой, “постмодернисты оплодотворили диссертации всех западных славистов”.

Специфическое творчество представителей постмодернизма получило большую критическо-литературоведческую прессу. Оценка их деятельности с литературной точки зрения не входит сегодня в круг наших задач. Касательно же работы над языком можно сказать следующее. Поскольку для постмодернизма важнейшим понятием является так называемый “метатекст”, “гипертекст”, “сверхтекст”, то есть некий вневременной и вненациональный универсум, и свои сочинения они с фатальной неизбежностью соотносят с ним, то волей-неволей приходится констатировать, что язык современного общества выступает для них как нечто вторичное, несовершенное, необработанное и предельно аморфное. Это скорее полуфабрикат, который самостоятельного значения не имеет и должен быть подвергнут массовой обработке-вивисекции. А раз так, то говорить о бережном, уважительном, деликатном использовании его не приходится.

Названные литераторы по-разному подходят к воздействию на

язык. Один целиком выстраивает свою поэтику на газетно-плакатной или бытово-приземленной поэтике соц-арта, другой с энтузиазмом обращается к пласту вульгарно-ненормативной лексики, третий пытается расширить диапазон принятого в обществе приличия, вводя в прозу предельно натуралистические, отвратительные и непристойные мотивы, четвертый сталкивает в своих экзерсисах далековатые по настрою и лексике религиозные, философские и политические материи, пятый – обращается к наследию прошлых веков и напрямую пользуется эстетическими находками других писателей... Можно назвать множество и других подходов. Роднит их, пожалуй, одно: отсутствие какого бы то ни было пиетета, преклонения перед русским языком, желания сохранить в нем все лучшее и очистить от недостойного. В ход идут (и чаще всего без малейшей художественной или смысловой мотивировки) сленговые образования, англо-американизмы, искусственно сконструированные лексемы и междометия. Не берусь оценивать этот вид занятий с моральной точки зрения, повторю: на определенном этапе литературная продукция такого рода обрела своего читателя и определенным образом воздействовала на русский язык.

Однако было бы нелогично и неестественно, если бы в современной литературе не нашлось и некоего противодействия названному направлению. В качестве одного из факторов, противостоящих натиску постмодерна, я бы назвал возникновение в современной русской литературе такого любопытного художественного течения, как “новый реализм”. Впервые этот термин (в новом осмыслении) прозвучал в марте 1997 года, когда московские писатели, в основном среднего и молодого поколения, собрались на конференцию под таким девизом. Как один из инициаторов этого мероприятия, могу подтвердить, что поначалу ни о каком новом направлении речь и не шла. Просто встретились прозаики, поэты, критики, издатели, литературоведы, журналисты, чтобы обсудить ситуацию с реализмом в современной литературе. Но неожиданным образом выяснилось, что даже те авторы, которые продолжают работать в русле реалистической традиции, сегодня пишут несколько по-другому, чем прежде. Слишком сильно изменилась наша жизнь за последнее время, чтобы писатель никоим образом не отреагировал на это. Предложенный мною тезис “Новые реалии – новый реализм” был принят в качестве рабочей гипотезы, хотя воспринимался не всеми и не однозначно.

В чем же отличие “нового реализма” от просто реализма в классическом его понимании? Во-первых, и с классическим не все так уж ясно. Скажем, Д.И. Писарев, вкладывал в него одно значение, М. Горький – другое, а ныне П.В. Палиевский – третье. Во-вторых, любая формулировка может быть оспорена с точки зрения писательской практики: крупные художники редко целиком и полностью укладываются в рамки конкретного течения. Выработать его дефиницию на категори-

альном уровне, да еще такую, которая удовлетворила бы всех, не так-то просто. Скорее, справедливо было бы говорить о реализме как о вечно обновляющемся и видоизменяющемся в зависимости от исторических условий методе. Таким образом, получаем определение, что новый реализм – это реализм на данном этапе развития общества и языка художественной литературы. В середине тридцатых годов, кстати, когда шло создание Союза писателей, новым реализмом называли именно реализм социалистический.

И все же некоторые специфические черты нового реализма в плане его отношения к языковой стихии хотелось бы выделить особо.

Важной чертой произведений, написанных в духе нового реализма, следует признать особое отношение к авторской позиции. Очень часто сам писатель – один из героев повествования, мало чем отличающийся от других. Этот прием, как правило, усиливает достоверность рассказанной истории, придает ей исповедальный и правдивый характер, превращает рассказ или повесть в нечто, подобное бытию. Нынешний автор обычно никого не поучает, не сыплет нравственными инвективами, он сочувствует героям, но стоит с ними как бы на одном уровне и переживает те же трудности, что и они. Иными словами, позиция нового реалиста – быть в самой гуще народа не на словах, а по сути. Разумеется, добиться этого можно только при условии умелого и точного применения языковых средств, которые сегодня в ходу в массах.

Говоря в общем об отношении новых реалистов к языку, можно без преувеличения констатировать повышенный интерес с их стороны к организующей функции языка. Русская речь для большинства из них – не просто инструмент общения, описания, повествования. Помимо смысла и художественной выразительности они рассматривают с л о в о в его сакральной, онтологической, животворящей сущности. Язык для представителя нового реализма – знак судьбы, то, что нам дано и как предначертание, и как реализация явных и скрытых возможностей, и как необоримая сила, которая может – в зависимости от ситуации и положения – и возвысить, и покарать.

Пожалуй, одним из первых почувствовал сакраментальный характер нового русского слова Петр Паламарчук. После создания его подвижнического четырехтомника “Сорок сороков”, где еще в советские годы были описаны все когда-то бывшие в Москве церкви, писатель настолько проникся чувством сопричастности к историческому пути страны, народа и его языка, что его авторская манера приобрела неповторимые сказовые интонации, уходящие своими корнями в дореволюционную, додержавинскую, дониконианскую Русь. Его цикл “Московские сказания” поражал смелостью попытки соединить старинную народную языковую вязь со стилистикой ремизовских, шмелевских стилизаций, а также с ультрасовременной для тех лет поэтикой Набокова и публицистическим напором Солженицына. Тогда это воспринима-

лось многими как словесная игра, авторский произвол и искусственность стиля. Сегодня становится понятно, что писатель напряженно работал в направлении сопряжения языковых стихий разных эпох и уровней. Быть может, не всегда это получалось органично, но прозаик исходил, бесспорно, из благого побуждения – восстановить на новом витке былую красоту и образность великорусского языка.

Другой попыткой расширить лексические запасы и обогатить образный строй благодаря обращению к кладезю языковой истории можно назвать роман Александра Сегеня “Державный”, посвященный личности Ивана III. Казалось бы, у нас никогда не было недостатка в писателях исторической тематики, которые были не прочь щегольнуть устаревшим оборотом, забытым словом или диалектным говором. Но часто они обрушивали на читательскую аудиторию сырую речевую массу, звучащую экзотически, но маловразумительно. В результате – применение старинного словесного материала не оказывало ни малейшего воздействия на современный язык, звучащий все более выхолощено и секуляризованно. Роман А. Сегеня демонстрирует принципиально иной подход: речевые обороты минувшего почти нигде не выглядят у него как декоративный фон, украшательство, орнаментализм – повсюду он пользуется словесными богатствами многовековой давности так, что они естественно и точно звучат именно для современного читателя, который впредь может применять их в повседневной жизни.

Другой пример. В романе Владислава Артемова “Обнаженная натура” есть следующий пассаж. Описывая бытовую, и, казалось бы, приземленную сцену – после торгового дня происходит уборка импровизированного городского рынка, он неожиданно разворачивает ее в настоящую вневременную мистерию: “Когда он вышел из метро, рынок уже затихал. Торговцы укладывали не распроданные за день товары в полосатые сумки, дежурные бомжи сгребали в кучу оставшийся мусор – картонные коробки, рваные газеты, кожуру от бананов, огрызки, смятый целлофан, доски, щепки – и все это жгли тут же, посредине площади. Черный густой дым клубами поднимался в потемневшее небо. Закат уже отполыхал... пахло кочевьем и дикой волей, пришедшей извне, из разбойничьих степей, где дымится сухой ковыль и воют на багровую луну темные волки...”. Связь времен, которая может проявиться в любой точке бытия, вообще свойственна стилистике нового реализма.

Но бывает и так, что писатель обращается к редкому, раритетному словечку для достижения сатирического или же комического эффекта. В сборнике “Игра без обмана”, составленном из рассказов новых реалистов, есть прозаическая миниатюра Н. Ильина “Хипикус”. Вся сюжетная канва, да и основная авторская задача держится в нем на этом единственном слове, вынесенном в заглавие. Что же это такое?

Послушаем, как определяет его главный герой рассказа, новоявленный дворянин, коих появилось у нас нынче откуда ни возьмись превеликое множество: “Ты вот, Николай, такой икоты никогда ведь и не слышал?... Так-то вот, – радостно объявил гость, страшно икая. – Это потому ты такой икоты не слышал, что ты не из высшего сословия. Ты вот думаешь, что это у меня просто икота. А это не икота. Это хипикус, так по-английски наша болезнь называется...”. Всего одно слово потребовалось писателю, чтобы впечатляюще обрисовать личность, амбиции и, так сказать, моральный облик персонажа, который и на полноценного человека-то не очень похож, а не то, что на дворянина – так, хипикус какой-то.

Драматична история “Жабьего лета” (А. Сегень), где фигурирует сумасшедший омоневец, участвовавший в расстреле Белого дома в октябре 1993 года. Каждый год по осени он испытывает обострение: рвется стрелять коммунист, душище баркашат, резать хасбулатовцев. По воле случая под руку ему попадает человек, обладающий экзотическим хобби – разведением тропических рыбок в аквариуме, говоря профессиональным языком – ихтиодорудит. И вот это слово, поставленное как бы поперек текста, поперек рассказа, поперек повествования, – многократно усиливает трагическую абсурдность происшедших событий, катастрофический излом психики людей, которых заставили убивать соотечественников. Предельно мирная обстановка, в которую врывается бешеный страж президентской власти, акцентируется именно словесно: “перламутровые тетраодоны”, “лорикарии”, “габонский сомик”.

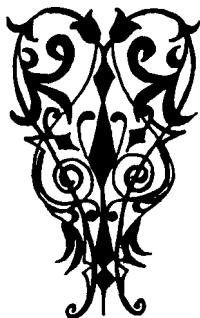
В рассказах Олега Борушко “Гостеприимный Ваню”, Алексея Варламова “Партизан Марыч и Великая Степь”, Владимира Галкина “Садовник из Кунцева”, Николая Иовлева “Коран и устав”, Марины Кротовой “Разлука”, Владимира Крупина “Янки, гоу хоум!”, разных по тональности и стилистике, на передний план выходит проблема соприкосновения русского языка и иноязычных влияний: извечное противостояние Запада и Востока, Европы и Азии, русского и нерусского начал во многом интерпретируется ими как языковая проблема.

Но, пожалуй, ни у кого из представителей нового реализма языковая сфера не наделяется такими полномочиями, как у Михаила Попова. Многие его романы строятся с учетом функционирования устных и письменных форм речи, и делается это с большим разнообразием подходов. Одним из важнейших носителей языка у него выступает, естественно, мир литературы.

Вообще инструментарий, технические средства, арсенал приемов, которыми пользуются новые реалисты, поразительно широк. Можно отметить случаи, когда они выходили на поле своих оппонентов и добивались успеха, прибегая к эстетическим принципам постмодерна. Роман М. Попова “Пора ехать в Сараево” написан, в сущности, целиком

на материале русской классической и даже советской литературы. Огромное количество реминисценций и литературно-кинематографических аналогий присутствует в романе Юрия Полякова "Замыслил я побег".

В чем же тогда отличие нового реализма от постмодерна, если они вправе пользоваться как бы чужим инструментарием? А различие существует весьма определенное, принципиальное. И состоит оно в отношении к жизни и в том числе к языку. Если постмодерн недолюбливает действительность, втайне (а то и открыто) презирует и побаивается ее, то представитель нового реализма – преклоняется перед действительностью, вдохновляется ею и уважает ее во всех проявлениях, в том числе, конечно, и в сфере функционирования языка.





В Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки, в личном фонде В.И. Даля, хранится неопубликованная рукопись воспоминаний его внучки О.П. Демидовой. В ее обширных мемуарах (объемом в 168 листов) наибольший интерес представляют две главы, посвященные московскому, последнему периоду жизни В.И. Даля. В них содержатся неизвестные сведения о семейном укладе, увлечениях, досуге, о близких и знакомых Владимира Ивановича.

Воспоминания публикуются в незначительном сокращении.

Дали в Москве

Новое жилище понравилось решительно всем. Дом был куплен на редкость удачно. Теперь трудно поверить, что за 40 000 р. можно было приобрести такое владение. Он был расположен на Пресне на углу Большой Грузинской улицы, как раз против зоологического сада. Самый дом стоял в глубине двора и отделялся от улицы чугунной решеткой с двумя воротами по концам. Между фасадом дома и решеткой растиался большой и красивый лужок, обсаженный деревьями. Одноэтажный дом был выстроен покосом, ножки которого (с мезонином над ними) были обращены в глубь двора, между ними был тенистый садик.

Флигелей, кухонь, сараев, погребов, конюшен – было больше, чем нужно. Дом принадлежал большому барину, южному помещику Иваненко и в горькую минуту был спущен за бесценок со всей обстановкой. Его новые скромные владельцы только головой покачивали при мысли о расходах по его отоплению. Под словом обстановка я подра-

зумеваю не картины, статуи, коллекции и фамильное серебро, а только мебель и домашнюю утварь, но и этого вполне достаточно, и новых трат делать не пришлось.

В доме оказалось десятка три комнат. Вот то было раздолье!

Большая зала, маленькая зала, большая гостиная, маленькая гостиная, и все в таком роде. Всем и всему нашлось место. У бабушки, кроме спальни, была своя комната, где она могла занавешиваться от света и загораживаться от сквозняка, сколько и как хотела. Дедушка, верный своей привычке, водрузил свой письменный стол посреди большой гостиной, служившей сборным пунктом для всей семьи.

Верстак его поместился в светлой столярной. Бильярд занял один из концов большой залы. В ней же нашлось убежище и для ненавистного бабушке рояля, от которого ее теперь отделяло много закрытых дверей.

Дочери (В.И. Даля. – *В.М.*) получили каждая по комнате. Один из мезонинов был отведен для Льва (В.И. Даль своего первенца, родившегося 11 июля 1834 г. в Оренбурге, назвал в честь любимого брата Львом. В семье его называли также Арсланом, что по-башкирски означает Лев. – *В.М.*) и его чертежей и рисунков. Было помещение и для бабушки Анны Александровны с Наташей, и вообще для всех бабушек (в доме В.И. Даля жила его мать Юлия Христофоровна, мать рано умершей первой жены – Минна Ивановна Андре, мать второй жены – Анна Александровна Соколова. – *В.М.*), о которых будет еще речь впереди. И все-таки много комнат стояли пустыми, без употребления.

Сестры деятельно хлопотали над распаковкой и расстановкой вещей. Когда дом был приведен в порядок, Ольга хватилась тычка, но все поиски оказались напрасны – тычок как в воду канул. “Должно быть, где-нибудь с воза упал”, – говорили люди.

Много лет спустя Ольга Даль, уже будучи Ольгой Демидовой и матерью нескольких детей (в том числе и автора этих воспоминаний. – *В.М.*) в Петербурге у А.Н. Аксакова вдруг в его кабинете увидела знакомую табуретку на трех ногах.

– Александр Николаевич! Тычок! – воскликнула она.

– Да, тычок, – с лукавой усмешкой ответил хозяин, – и живет он у меня с самого переезда из Нижнего.

Так перехитрил взрослый человек строптивого подростка.

Устроились, обжились Дали и начали понемногу знакомиться с Москвою и ее обществом.

Прежде всего через Александра Николаевича познакомились с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым и его семьей, а затем и с остальным славянофильским кружком – Самариным, Хомяковым, Погодиным, Киреевским, Кошелевым и др.

Насколько мне помнится, дедушка и раньше знал многих из них, как например Юрия Федоровича Самарина.

Его любовь к русскому быту и русскому языку непременно должна

была увлечь его в сторону славянофилов, хотя датско-немецкая кровь и традиции помогли ему удержаться от их крайностей.

Завязались отношения с редактором Русского Архива Бартеневым. Приезжали петербургские литераторы и заграничные из славянских земель, например Коларж. В доме бывало много интересного народа. Бедная бабушка не успела оглянуться, как очутилась в положении курицы, высидевшей утят. Сначала дети принялись за прерванное переездом изучение иностранных литератур с Аксаковым, но очень скоро этого одного оказалось мало: Маше понадобились уроки пения, Ольге – рисования и фортепиано, Кате, если не ошибаюсь, чешского и польского языка, а все вместе стремились в музеи, на выставки, лекции, в концерты и театры.

Бабушка вздыхала, хворала, обращалась к посредничеству Аксакова, чтобы отсрочить ломку своей системы, но это не помогло.

Молодежь призвала на помощь того же Александра Николаевича и повела терпеливую осаду родителей. Положение Аксакова было незавидно; обе стороны были им недовольны: мать за то, что он слишком уступал молодежи, а дочери за то, что он, как будто сочувствуя им, в решительный момент оказывался на стороне старших. Особенно Ольга не прощала ему изменнического образа действия и даже дала ему прозвище принца Оранского, которое так и осталось за ним на языке трех сестер.

Я как-то впоследствии спросила свою мать по поводу этого прозвища:

- Какой Оранский?
- Ну, известный, Вильгельм Молчаливый.
- Да это же очень лестно? Такая крупная личность...
- Крупная-то крупная, а Эгмонта он все-таки выдал.

Мы тогда только прочли Эгмонта. Уроки пения, музыки и рисования устроились легко, но относительно выездов дело пошло труднее. Кто будет сопровождать сестер? Отпускать молодых девушек одних в то время не полагалось, а мать, как я уже говорила, никуда не выходила. Вот тут-то и выступают на сцену “бабушки”...

Я упоминала, что когда-то существовало пять княжон Путятиных. Анна Александровна была старшая из них. Все ее сестры вышли замуж за тверских и новгородских помещиков и сохранили самые родственные отношения со старшей сестрой.

Когда Дали переехали в Москву, бабушки стали подолгу гостить на Пресне и вносили своеобразную струю в их жизнь. Они являлись со своими барскими вкусами и привычками, с рассказами о помещичьей жизни, с жадным и наивным любопытством к Москве и ее диковинкам. Молодежь очень любила эти наезды. Сестры охотно слушали бесконечные рассказы бабушек и еще охотнее путешествовали с ними по Москве.

Особенной любимицей была бабушка Елена Александровна Ушакова, та самая “Аленушка”, которая по распоряжению тетушки пришлось на долю Ушакова вместо полюбившейся ему Аннушки. Живая, веселая, словоохотливая, она готова всегда и всюду ехать с внучками.

К Анне Александровне она питала трепетное уважение.

Пресменную картину представляли эти две старухи. Старшая обращалась с младшей, как с шаловливой девчонкой, и называла ее – “сестра”. Младшая говорила “сестринька” и “вы” и возражала с большой опаской...

Прошел год, другой. Подростки стали молодыми девушками.

В жизни Льва произошло важное событие. Блестяще кончив академию художеств, он был послан на казенный счет за границу на три года, которые и провел большею частью в Италии.

Между тем Юлия в Москве стала серьезно хворать. Гомеопатия не помогала. Врачи нашли большие неполадки в легких и рекомендовали перемену климата.

Узнав о положении сестры, Лев выписал ее к себе. Несмотря на предстоящую разлуку, Ольга искренно радовалась отъезду сестры, понимая, каким счастьем для нее является неожиданная свобода и жизнь с братом. Провожала она Юлию весело и вполне верила в ее выздоровление. Отец смотрел на дело иначе: он видел роковое наследство матери и не надеялся на хороший исход, но, конечно, детям о своих опасениях не говорил.

Машино здоровье было тоже не многим лучше Юлиного: всю свою молодость она продержалась на границе чахотки. Высокая, тонкая, с темно-бронзовыми вьющимися волосами и карими глазами, с правильными чертами лица, она, говорят, была очень красива, но бледна как мел. Беспрестанные головные боли до дурноты и лихорадка отравляли ей жизнь.

У Ольги тоже были очень красивые, пышные волосы совсем необыкновенного оттенка. Когда она была еще девочкой, Н.И. Пирогов как-то погладил ее по голове и назвал волчонком. И действительно, ее темные волосы отливали сталью. Лицом она была очень похожа на отца: те же серо-голубые глаза, нос с горбинкой и красиво очерченный, немного большой рот на смуглом продолговатом лице. Вся ее крупная фигура дышала силой и здоровьем и была полна жизни. Несколько лет спустя художник барон Клодт в Петербурге упрасивал ее позировать ему для картины “Ярославна плачет на Путивле”.

– Некогда мне, Михаил Петрович, – говорила моя мать. – Куда я от ребят уйду? Вы и без меня найдете подходящую натуру.

– То-то, что не найду, – отвечал Клодт, – ведь теперь что за народ пошел; вся молодежь жидкая, а Ярославна – сила (...).

Мне волей-неволей придется говорить главным образом об Ольге –

не потому только, что она была моя мать, а потому, что она, по самым свойствам своей природы, была тем фокусом, в котором собирались и отражались все семейные впечатления и интересы.

У нее были два увлечения – славянофильство и музыка в лице их главных выразителей – Ивана Сергеевича Аксакова и Николая Григорьевича Рубинштейна.

Старшие славянофилы – А.С. Хомяков и Ю.Ф. Самарин были звездами слишком крупной величины, чтобы молодая девушка решилась когда-нибудь поставить себя в одной плоскости с ними. Она с жадностью и благоговением слушала горячую и вескую, как молот, речь Хомякова и полную изящной эрудиции беседу Самарина, она читала все, что выходило из-под их пера, но поклонялась им издали.

К Ивану Сергеевичу Аксакову благосклонная судьба поставила ее гораздо ближе. Знакомство с автором “Семейной Хроники” и его старшим сыном Константином велось у Далея с нижегородских времен. Я боюсь спутать хронологию, но кажется мне, что к московскому периоду далевской жизни Константин Сергеевич или уже умер, или был при смерти. Сергей Тимофеевич был жив, но уже очень преклонных лет и почти слепой.

Я не собираюсь описывать семью Аксаковых, которая так известна из-за семейной переписки и из других источников. Ничего нового я прибавить не могу, но говорить о ней мне придется, потому что люди эти близко коснулись моей матери, и общение с ними оставило глубокий след в ее душе.

Иван Сергеевич был в сравнении с дедушкой молодым человеком, он высоко ценил его как знатока русского языка и часто читал ему свои произведения перед отдачей их в печать, а дедушка слегка подсмеивался над ним за то, что несмотря на все свое презрение к Европе, он не умеет обходиться без иностранных слов в русском языке.

Вскоре после переезда Далея в Москву произошел такой случай: Иван Сергеевич, читая дедушке статью, произнес слово *мираж*. Дедушка поморщился.

– Зачем иностранное слово? – сказал он. – Как будто своих нет!

– А как вы назовете мираж по-русски? – спросил Аксаков.

– Морока.

– Что вы, Владимир Иванович! Мороку еще меньше поймут, чем мираж. Этого слова никто не знает.

– Нет, русские люди поймут; а не поймут, так догадаются.

В это время в комнату вошла Ольга.

– Оленька, – обратился к ней отец, – слыхала ты слово морока?

– Нет, – удивленно отвечала та.

– А как ты думаешь, что оно значит?

Девочка задумалась на минуту и сказала:

– Наверно, какой-нибудь обман.

– Это замечательно! – воскликнул Аксаков и зачеркнул провинившееся слово.

Однако выпустить его в печать без пояснения он не решился, и в статье после слова *мороза* стояло в скобках *мираж*.

По рассказам ли Александра Николаевича, или по расположению к бабушке, старушка Ольга Семеновна Аксакова и ее дочери – а их было очень много – заинтересовались барышнями Даль и стали зазывать их к себе. Как ни вздыхала бабушка, но не могла отыскать благовидного предлога, чтобы не пускать дочерей в такой почтенный и серьезный дом.

Впрочем, Катя там как-то не привилась, а бывали больше Ольга и Маня (когда была здорова). Ближе всего они сошлись с младшею из дочерей Ольги Семеновны, Надеждой Сергеевной, которая все же была значительно старше их.

Очевидно, многое в строе далевского дома казалось странным дамской половине аксаковской семьи. Замкнутая жизнь Екатерины Львовны и ее увлечение Сведенборгом, “Саша Аксаков” в роли воспитателя трех молодых девиц, все это было очень любопытно и необыкновенно.

Ольга охотно и откровенно болтала о домашних делах и о своей жизни и, вероятно, нередко забавляла сдержанных и немного чопорных Аксаковых решительностью суждений и смелостью при совершенно детском еще понимании жизни.

А смелости у нее было хоть отбавляй. Однажды у Аксаковых целый вечер горячо проспорила с “каким-то господином”, усвоившим, по ее мнению, совершенно неправильный взгляд на Петра Великого. Присутствующие молчали и добродушно улыбались, слушая ее речи. Тем же кончил и ее противник. После его ухода она узнала, что это был профессор истории Нил Александрович Попов. “Мне никогда в жизни не было так стыдно, – рассказывала мне мама. – Воображаю, что он обо мне подумал!”

В свою очередь, и Ольга многому училась и дивилась у Аксаковых. Прежде всего ее поразила православно-церковный строй семьи, посещавшей службы, соблюдавшей посты и чтившей праздники. Старушка Ольга Семеновна по состоянию здоровья не переносила постного стола, но несмотря на то постилась весь Великий пост, довольствуясь почти одними сухариками из пеклеванного хлеба, которые всегда стояли около нее в корзинке.

Поражала Ольгу и тесная дружба между родителями и детьми. Трогательно было видеть, как отец любовался сыном, а сын отцом. Особенно нежная духовная связь существовала между стариком Аксаковым и его покойным сыном Константином, который до последних дней своих выказывал отцу детское послушание. Лев Даль рассказывал сестрам, как однажды ехал с Константином Аксаковым в возке зимой из Москвы в Нижний. Лев не любил закрытых экипажей и сразу сел на

козлы к ямщику, а Константин Сергеевич, жестоко страдавший от качки по ухабам, всю дорогу промучился с закрытыми окнами, потому что дал слово “отесиньке” не открывать их.

После смерти Константина Сергеевича центром и кумиром дома сделался Иван Сергеевич. Он сам, его статьи, его газета, его литературные друзья и противники – все это было главным общим интересом. Нечего и говорить, что Ольга без усталости расспрашивала, а Надежда Сергеевна рассказывала обо всем, что касалось Ивана.

По пятницам у него бывали многолюдные и интересные собрания, и “*pium desiderum*” (“самое большое желание”. – Пер. с лат.) Ольги стало – попасть на “Иванову пятницу”. Но желание это оказалось неосуществимым. “Даже сестры Ивана Сергеевича, – говорила мне моя мать, – считали, что им там не место, а таких девчонок, как я, и подавно туда не пускали”.

У Ивана Сергеевича происходили постоянные столкновения с цензурой, расстраивавшие его и приводившие в негодование всех его близких. Немало страдал в свое время и Владимир Иванович. За одну из своих сказок, кажется, “Об Иване, молодом сержанте”, он поплатился было крупною неприятностью.

У матери моей на всю жизнь осталось чувство ненависти и презрения к цензорам, “урезывателям языков”, переданное ею и всем ее детям. Для нее цензор был не многим лучше палача, и она понять не могла, как люди, уважающие человеческую мысль и достоинство, могли идти на такую должность.

За те годы Аксаковым пришлось пережить несколько тяжелых семейных потерь: умер Константин Сергеевич, умер сам Сергей Тимофеевич, умирали дочери. Молодое поколение Аксаковых было недолговечно. С течением времени умирали одна за другой все сестры. Дольше всех жила Мария Сергеевна: она одна из всех сестер была замужем. Она отличалась очень маленьким ростом, и ей Иван Сергеевич написал стихотворение, вошедшее теперь с разными вариантами чуть не во все детские книжки и сборники песен и даже положенное на музыку Чайковского: “Мой Лизочек так уж мал, так уж мал...” Только у Ивана Сергеевича в подлиннике стояло: “Мой Марихен так уж мал, так уж мал...”

Тяжело переживались Аксаковыми семейные утраты: с каждым новым трауром они не только замыкались и уходили от всех друзей и знакомых, но даже меняли квартиру, омраченную тяжким событием. Даже и тогда, когда спустя долгое время они выходили из своего заключения, их строгие грустные лица налагали невольный гнет на окружающих. Они бы сочили верхом безтактности, если бы кто-нибудь осмелился заговорить с ними об их горе; надо было делать вид, что ничего не знаешь.

Дедушка Владимир Иванович неодобрительно относился к этим

внешним проявлениям печали и, кажется, после смерти Сергея Тимофеевича раз сказал Ивану Сергеевичу, что друзья покойного всей душой разделяют скорбь семьи, а между тем ничем не могут выразить своего сочувствия, потому что к этому предмету и подойти нельзя.

– Да, – сказал Аксаков, – это правда: у нас горе всегда накрахмалено.

Вторым увлечением Ольги, как я уже сказала, была музыка и Николай Рубинштейн. Тогда только что нарождались Русское музыкальное общество и консерватории. В Петербурге во главе дела стоял Антон Рубинштейн, в Москве – Николай. Обе столицы соперничали талантами гениальных братьев. Оспаривать славу Антона Рубинштейна, конечно, было трудно: уже одна его композиторская деятельность давала ему преимущество над братом, который за всю свою жизнь написал, кажется, только две небольшие фортепьянные пьесы, но Москва горой стояла за своего действительно обаятельного любимца и уверяла, что в его игре было *un je ne sais quoi* (что-то непередаваемое. – Пер. с фр.), которого, при всей своей виртуозности, никогда не мог достичь Антон. Сам Николай Рубинштейн очень высоко ставил брата и не равнял себя с ним.

Директорами Русского музыкального Общества, кроме Николая Григорьевича Рубинштейна, были видные люди Москвы вроде князя Николая Петровича Трубецкого и князя Владимира Федоровича Одоевского (...).

Внуки мои вряд ли будут знать, кто такой был князь В.Ф. Одоевский. О личности и деятельности его есть очень интересная книга, но она, конечно, не попадетс я им на глаза. А между тем, оба они, каждый в свое время, увлекались “Сказками дедушки Ириней” и особенно любили “Городок в табакерке”, не подозревая, что они принадлежат перу князя Одоевского.

Князь Одоевский был высокообразованный человек и музыкант. Композитором он себя не считал, хотя втихомолку иногда писал фортепьянные пьески. Он не только обладал абсолютным слухом, но уверял, что не переносит соединения рояля с оркестром, т.к. слышит разницу в хроматизме того и другого (...).

На первых страницах моего рассказа я говорила, что одна из дочерей прадедушки Василия Львовича, Парасковья Васильевна, вышла замуж за Ивана Гавриловича Поливанова. Пожила она недолго и умерла, оставив сына Льва и дочь Машеньку. Воспитанием их занялась родная сестра ее, Марья Васильевна Суцова (...).

Для Маши с Ольгой Даль дом молодых Поливановых был чистым кладом. Нигде они себя так хорошо не чувствовали, как там, нигде не могли так свободно болтать о домашних событиях и недоразумениях, о концертах, о спевках, о Рубинштейне. Мари ко всему относилась с горячим участием и интересом.

При этих дружеских беседах часто присутствовал и двоюродный брат хозяина молодой Платон Демидов. Вскоре и он почувствовал симпатию к русскому Музыкальному Обществу и решил поступить в хор (...).

Лето прошло, как и всякое лето: Дали никогда не выезжали ни на дачу, ни в деревню. Ольга съездила к Аксаковым в Абрамцево, навестила еще два-три знакомых дома под Москвою, а остальное время провела на Пресне.

Осенью вернулись из деревни Поливановы. Приехал и Платон Демидов на свой последний университетский год. Начались хоровые спевки. Молодые люди виделись все чаще и сходились ближе. Наконец, Платон набрался смелости и решил так или иначе проникнуть в заколоченную ограду далевского дома...

Свадьбу решили сыграть в начале лета, как только Платон кончит курс. Пришло письмо от Демидовых. Искренно и сердечно просили родители подарить им молодую невестку. Дедушка совсем успокоился и ответил, как всегда без задних мыслей, с полным расположением будущему свату со сватьей.

Писала им и Ольга. Вообще, им с Платоном пришлось сочинять немало писем, так как родня у него была очень велика.

Начались визиты жениха и невесты по всем московским знакомым. Платон везде производил прекрасное впечатление, и все радовались за Ольгу.

В хоре тоже веселились по поводу помолвки двух его участников, и Рубинштейн подшучивал над обоими.

Сами виновники торжества сияли и наслаждались той волной праздничного настроения и всеобщей ласки, в которой они купались.

— А что же Александр Николаевич Аксаков? — спросит кто-нибудь. — Где он и как отнесся к этому важному событию?

Для меня этот вопрос темн, как темна и вся история его последующих отношений с Далями. Думается мне, что его уже не было в это время в Москве.

После стольких лет теснейшей дружбы и чуть не совместной жизни с Далями Аксаков вдруг безо всякой видимой причины и надобности расстался с ними, и не просто расстался, а разошелся настолько глубоко, что не смог оставаться в одном с ними городе. Вся эта размолвка шла настолько втайне, что молодежь ее проглядела и узнала только, что Александр Николаевич пересезжает в Петербург, после чего он действительно исчез с их горизонта.

Меня всегда интересовал этот вопрос, но моя мать ни в своих записках, ни на словах не разъяснила мне его.

Муж моей тетки, Марии Владимировны, как-то сказал мне, что Александр Николаевич сватался к маме, но получил отказ и уехал. Я не успокоилась и пристала с этим вопросом к моей матери.

– Какой вздор! – смеясь, сказала она. – Никогда этого не было.

Много лет спустя Александр Николаевич сам заговорил со мною об этом времени.

– Ведь вы знаете, как я был дружен с вашими дедушкой и бабушкой, а вышло так, что под конец мы в корень разошлись с ними. Почему? Это все равно. Бывают такие убеждения, как например, религиозные, которыми ни та, ни другая сторона не поступится и которые всегда будут стоять стеной между людьми.

Так я ничего толком и не узнала и, по правде сказать, меньше всего могла допустить расхождение на принципиальной почве людей, изучивших друг друга вдоль и поперек и до того спевшихся между собою в течение многих лет, что каждый заранее знал, что подумает и скажет другой.

В Петербурге Аксаков очень скоро женился на М-м Манухиной, вдове с двумя детьми. Жена его прожила недолго, и он продолжал свою жизнь старого холостяка. К пасынку и падчерице он относился хорошо и заботился о них, пасынок, Сергей Сергеевич Манухин, был впоследствии министром юстиции при Николае II, а падчерица Софья Сергеевна вышла замуж за известного революционера-эмигранта Л.А. Дейча.

Милая Москва! Родной далевский дом!

Со въездом в него наступила самая счастливая пора моего детства. Я считаю Москву своей духовной родиной, потому что в ней началась моя сознательная жизнь, и пресненский дом был ее колыбелью.

В Москве нас встретили с распростертыми объятиями. Нам были отведены комнаты (с отдельным входом) в левом крыле дома за большой залой. Наверху были детские и спальня, а внизу гостиная и кабинет. Завтракали, обедали и пили чай всем домом вместе в большой зале.

В сущности, я никогда не сидела в нашем помещении под присмотром ворчливой няньки. Весь дом был к моим услугам, и везде меня ждал радушный прием...

Я совсем не помню в своем детстве сверстников и товарищей. Мне не приходилось бывать в домах, где были дети. Единственным исключением была семья Поливановых. Со старшей их дочерью, Олей, мы виделись и играли вместе.

Кроме близких родных есть еще несколько лиц, которые для меня неразрывно связаны с далевским домом. Я не поручусь, что все они появились в первый же год нашего приезда, но это, в сущности, для потомства безразлично.

Каждое воскресенье, несмотря ни на какую погоду, к обеду приходил бывший декабрист Дмитрий Ириархович Завалишин. Он был товарищем дедушки по морскому корпусу...

Завалишин был сослан в Сибирь. Не знаю, работал ли он на каторге; большую часть ссылки он провел в Чите на поселении, где приводил начальство в отчаяние своим беспокойным характером. Он не мог равнодушно видеть несправедливости и злоупотреблений и, несмотря на бесправное положение политического ссыльного, боролся с ними неутомимо и бесстрашно. Он пробирался всюду – в тюрьмы, в присутственные места, и особенно охотно в школы и приюты, и затем начинал звонить о найденных беспорядках и противозаконных поступках. Если не слушали его слов, он принимался писать сначала прямому начальству, потом начальству начальства и т.д. до самого Петербурга. Заставить его молчать не было возможности. Грозил ему высылкой из Читы на север, он отвечал: “Мне все равно, куда хотите; я одинок и везде проживу”. И уверяют, что своим назойливым жужжанием он добивался многого.

В то время, о котором я пишу, это был невысокого роста старичок с гладко выбритым морщинистым лицом и черными, без признака седины, волосами. Ходил он и зиму и лето в черном спортуке и белых нанковых панталонах, держа под мышкой огромный зонтик, делавший его похожим на дедушку из андерсеновских сказок.

За обедом он ел много и жадно, хотя перед каждым кушанием говорил: “Я до этого не охотник”. Он так долго прожил в Чите и так свыкся с нею, что почти каждый рассказ (а у него их было неисчислимое количество) начинался со слов: “у нас в Чите”. И чего только не было у них в Чите! По его словам, там рос даже виноград. Вообще, говорун он был большой и никому не давал вставить слова. У него была привычка, сердившая бабушку: каждую тарелку, которую ему ставили, он тщательно обтирал салфеткой.

– Можно подумать, что ему подают немые тарелки, – негодовала она.

Однажды в пылу рассказа он наложил себе полную тарелку шпината и затем, забывшись, быстро вытер ее салфеткой. Можно себе представить, что получилось и во что превратились белые нанковые панталоны, над которыми произошел этот маневр.

Дмитрий Иринархович вел большую переписку и обижался, что его отчество не запоминалось.

– Каких, каких адресов я не получаю: и Аристарховичу, и Винарховичу, и Епарховичу, а вчера наконец получил Монарховичу! Это уже ни на что не похоже.

У нас в доме его звали старым Иринархом. С дедушкой он был на ты, но считал себя моложе его. В 1870 году дедушке было 69 лет, а Завалишину лет 65, не меньше.

И вот однажды произошла небывалая вещь – Иринарх не явился к воскресному обеду. Дедушка даже обеспокоился.

– Уж не заболел ли старик? – говорил он.

Однако в следующее воскресенье Иринарх и его зонтик были у нас в обычное время.

– Что с тобой случилось в прошлое воскресенье? – спросил его дедушка. – Отчего ты не пришел?

– А я не мог. Я в то воскресенье венчался.

– Кто венчался? – переспросил Владимир Иванович, подумав, что ослышался.

– Я.

– Да ты шутишь?

– Какие шутки, Владимир Иванович. Я уже давно думал об этом: годы уходят, и к старости совсем бобылем останешься. Невесту нашел я прекрасную: девица скромная, красивая, молодая и очень ко мне расположена. Ну, и дворянского рода тоже, хотя и бедна.

Уходя домой, Завалишин сказал, что привезет жену знакомиться.

Дня через два к крыльцу подъехала пролетка, из которой вслед за Иринархом выпрыгнула плотная кругленькая фигурка в небесно-голубом платье и белой шляпе.

Молодые прошли в большую гостиную и просидели с церемонным визитом минут десять. Жена Дмитрия Иринарховича, несмотря на свое благородство, не умела связать двух слов, называла мужа “они”, краснела при каждом вопросе и не знала, куда девать руки, на которых поверх лайковых перчаток блестели кольца...

Зима 1870–71 г. памятна мне еще слухами и толками о франко-прусской войне. В нашем доме усердно щипали корпию для раненых. Как сквозь сон помню имена – Страсбург, Мец, Седан, Наполеон III, Базэн, помню удивление, смешанное с ужасом, вызывавшееся молниеносными успехами “пруссакон”. Наш знакомый хирург Николай Павлович Бетлинг ехал на театр войны.

– Нет, что они делают! Что за быстрота! О чем думают французы? – слышались мне разговоры взрослых.

– Дедушка, а сюда пруссаки не дойдут? – спросила я как-то с тайным страхом.

– Нет, не дойдут: они идут как раз в другую сторону от нас, – успокоил он меня.

Я ничего не понимала в политике, но чувствовала, что французы и бедные, и чем-то виноватые, и что немцы их обижают.

Коля Бетлинг был сыном нижегородского помещика Павла Логгиновича Бетлинга, с дочерьми которого мама и тети были дружны еще в детстве...

Очень не любила я, когда приезжал крикун Погодин (Погодин М.П. (1800–1875) – историк, публицист, академик, собиратель материалов по истории России, славянских народов. – В.М.). Ума его я оценить не могла, а его неряшливая, нечесаная фигура и грубый крик производили на

меня отталкивающее впечатление. Мне всегда казалось, что он бранится, и я не понимала, как он смеет кричать на дедушку.

В словах и выражениях Погодин действительно не стеснялся. Я слышала о нем такой рассказ. В один из царских приездов в Москву Погодин был на высочайшем выходе в Кремле. Церемониймейстер князь В.Ф. Одоевский расставлял публику в зале и заметил, что у Погодина плохо прикреплена звезда.

– У вас звезда отваливается, – сказал он.

– Подлячка! – рявкнул Погодин.

– Михаил Петрович! Можно ли так называть? Ведь все-таки царская милость.

– Не ее ругаю... жену... чего смотрит? – так же резко и отрывисто огрызнулся Погодин, борясь со злополучной звездой.

У дедушки бывало много народа, но, конечно, я не всех видала, и не все остались у меня в памяти.

Однажды в Москву приехал один чех Федор Иванович Езбера. Был он, кажется, профессор и приезжал с этнографической славянской выставкой. Он остановился у нас в доме, и я налюбоваться не могла на его кукол в различных народных одеждах. Я недолюбливала только его самого: его ломаная речь казалась мне намеренным кривлянием, и мне было стыдно, что он такой большой, а ломается. А он, как нарочно, заигрывал со мной:

– Бариншиа, смотрите, мои кукалки вам кланяются, – тянул он в нос.

Особенно занимал меня его шкафчик, низенький, но всегда запертый. Поставили его у нас в большой зале. Много раз я обхаживала его и пробовала царапать дверь, но она не поддавалась. Однажды утром я опять подошла к нему, и так как в зале никого не было, я опять попробовала отворить дверцу. К моему большому удивлению, она легко открылась, и я обомлела от восторга: в шкафу стояла многоглавая церковь вроде Василия Блаженного, с золотыми крестами, лепными изображениями, живописью и даже стеклами в окнах. Очевидно, это была модель какого-то собора. Только что я принялась ее рассматривать, как посыпались шаги; пришлось захлопнуть шкаф и спастись бегством. Когда я подошла к нему на другое утро, он оказался снова закрытым, а через несколько дней и вовсе исчез из нашего дома. Так скрылось мое мимолетное видение, о котором я долго не могла забыть.

Но самым любопытным гостем далевого дома был черногорский священник Матвей Саввич, или, как его звали, поп Мато. Он приехал в Россию на сбором на черногорские церкви, которые иногда оставались без облачений, без икон и даже без сосудов. Долгое время жил он у нас в доме со своим младшим сыном Саввой, которого, между прочим, он привез в Москву учить. Поп Мато был саженный удалец с красивым выразительным лицом. Ему было лет 50, в волосах и бороде его серебрилась седина. Несмотря на священный сан, он ходил в черногорском

платье, увешанный и утыканный кинжалами и пистолетами, или, как он называл, “пиштолями”. Дикарь он был совершенный, читал только церковную печать, и ту не без труда, а в письме был совсем слаб.

Дедушку он звал отцом, бабушку – матерью, остальных всех по именам, и всем говорил *ты*. Прирожденный горец-воин сказывался в его манерах: ходил он огромными шагами, но неслышной, кошачьей походкой, и силы был необыкновенной.

Однажды при нем Николай Павлович Бетлинг похвастался своим искусством прыгать и, кажется, перепрыгнул через кресло. Поп Мато засмеялся.

– Разве так прыгают? Смотри! – сказал он и стал городить целую баррикаду из мебели. Затем, не стесняясь присутствием дам, он сбросил сапоги и чулки и принялся скакать; но как?! чуть не на сажень от пола. Бесшумно, как зверь, метался из конца в конец комнаты, перепрыгивая через все и всех, попадавших на пути. У зрителей дыхание захватило при виде скачущего великана.

– Вот как прыгают, – сказал он, остановившись, чтобы перевести дух. – А сейчас я вам покажу...

– Нет, поп Мато, голубчик, не надо, – взмолилась бабушка. – Это ты лучше в саду покажешь, а здесь страшно.

В другой раз он стал описывать наряд турчанок и их способ покрывать голову и лицо.

– Маша, поди сюда, – позвал он тетю Маню. – Стой! – И, схватив бабушкину шаль, он мигом укутал в нее тетю Маню так, что остался виден только лоб и черные глаза.

Поп Мато молча посмотрел на нее несколько мгновений и потом, стиснув зубы, произнес: “У! Ссобака!” И сколько ненависти к воображаемой турчанке прозвучало в этом восклицании.

Живописный наряд попа Мато из белого и малинового сукна и его оружие возбуждали на улице такое удивление и любопытство, что за ним, как за крыловским слоном, толпа зевак ходила. Спутников его это смущало, а самого его радовало.

– Все ходят, все глядят на мои пиштоли, – хвастался он...

Очень близким домом для дедушки были Елагины. Я в начале упоминала о дочерях дерптского профессора Мойера. Катенька Мойер давно была Екатериной Ивановной Елагиной и матерью двух взрослых детей, Маши и Алеши, но с дедушкой сохранила отношения близкого, доброго товарища, часто сбивалась с ним на немецкий язык и звала его не иначе, как *Mein Lieber Dahl* (мой любимый Даль. – Пер. с нем.). Это была умная, просвещенная семья славянофильского направления.

Я как-то раз попала к Елагиным на елку. Меня заласкали и задарили. Веселая тетя Маша играла со мной весь вечер. Недалеко от елки сидела старушка, которая подозвала меня и тоже приласкала. Это была сестра Авдотьи Петровны, Анна Петровна Зонтаг, автор известной

в свое время “Священной истории для детей”. Я зачитывалась ее “Историей Ветхого Завета”, а потому смотрела на нее с любопытством и уважением. Кстати, замечу, что лучшего изложения для детей Нового Завета, чем в А.П. Зонтаг, я до сих пор не знаю...

Похорон бабушки (Екатерины Львовны Даль. – В.М.) я почему-то не помню; возможно, что меня и не брали на них. Похоронили ее на Ваганьковском кладбище.

Из разговоров старших я подслушала, что бабушка умерла от какого-то перерождения печени.

Больше мне не придется говорить о ней, и, прощаясь с ее образом на этих страницах, я должна признать, что она много сделала для моей детской души. Первые начала религиозного воспитания были заложены ею, и, должно быть, к старости она стала ближе чувствовать свою связь с православной церковью, потому что именно она объяснила мне значение праздников, постов, православных служб и молитв.

Должно быть, за год до ее смерти дедушка принял православие; я смутно помню, что поздравляли его по этому поводу, но когда именно – в точности сказать не умею.

Зима шла. Жизнь мало-помалу налаживалась. Комнаты бабушки стояли светлыми, пустыми и открытыми. Дедушка не только сидел, но и спал в большой гостиной. Писать он уже не мог, и обычным его занятием стало щипать корпию. Внуки постоянно вертелись у его ног, и он любил их присутствие: они отвлекали его от грустных мыслей и воспоминаний. В круг моих обязанностей вошло чтение ему газет. Мама поощряла мое сидение у дедушки и наш взаимный надзор друг за другом: с одной стороны, я уже приближалась к семи годам и не довольствовалась обществом нянec и крошек-детей, а с другой – и дедушку с его слабыми ногами было не безопасно оставлять одного: того и гляди, пойдет за какой-нибудь вещью или книгой и споткнется. Дежурство взрослых около себя он замечал и не любил, а ко мне привык и охотно пользовался мною для мелких услуг.

Это время дедушкиной болезни яснее всего стоит в моей памяти: чего, чего мы не перечитали и не переговорили за эти месяцы! Кажется, в ту зиму вышло изданное Вольфом собрание его сочинений. Дедушка взял стопку зеленых книжек. Дрожащей рукою сделал карандашом надпись на первом томе и подарил их мне. “Внучке моей Ляле от деда”, – стояло на обложке.

Я побежала со своим сокровищем к маме, роняя по дороге книги, которые не держались в детских руках, и первое, что сделала мама, – оторвала обложку с дарственной дедушкиной записью. Я ахнула.

– Ты истреплешь книгу и потеряешь этот лист; а он должен остаться тебе памятью на всю жизнь, – объяснила мне мама. – Мы ее спрячем и вложим обратно, когда отдадим книги в переплет.

– А читать эти книги можно мне? – спросила я.

– Можно; читай, сколько хочешь.

И вот для меня открылся новый источник наслаждений. Много я еще не понимала; были повести, которые я обходила, но зато были такие, которые я перечитывала бесконечное число раз, как например, Сказки. За объяснениями я прибегала к самому автору.

Временами мы изгонялись из большой гостиной недели на две и больше, и нам говорили, что у дедушки был опять удар. Приезжал дядя Леля; мама и тетя ходили встревоженные; появлялись доктора. Потом все понемногу успокаивалось, и дедушка возвращался к жизни.

Доктора пророчили ему смерть от третьего удара, а между тем он умер от седьмого. Конечно, с каждым разом он поправлялся медленнее и становился слабее, но ясность мысли восстанавливалась в полной мере. Положение свое он понимал отлично и не только не боялся смерти, но как будто даже тосковал о ней.

– Что меня еще держит? Чего я не доделал? – часто говорил он, потирая лицо и как будто сясь вспомнить или сообразить что-то.

Иногда он принимался ходить по комнатам, обыкновенно в сопровождении одной из дочерей, и сам подсмешивался над своей походкой.

– Ну, завели машину, теперь не остановишь, – говорил он.

И это было верно: он шел как будто с разбега, на пружинах, и оставался, только придерживавшись за что-нибудь рукою.

Однажды я с детской необдуманностью сама подсказала ему:

– Что, дедушка, опять завели машину?

Мама, шедшая рядом молча, взглянула на меня.

– Зачем ты это сказала? – спросила она меня потом.

– Да дедушка сам всегда так говорит, – оправдывалась я.

– Дедушка может смеяться сам над собой, если хочет; а нам не смешно, а жалко его.

Я помню, что мне стало ужасно стыдно...

Кротости и терпению дедушки дивились все. Всем он был доволен, всякому благодарен. Его собственная душевная ясность разгоняла тревогу окружающих.

За это время в доме появилось новое лицо, введенное в него тетей Катей и неприятное всем, не исключая самого дедушки. Это был священник Терновский. Как произошло это знакомство – я не знаю, но тетя Катя совершенно подчинилась влиянию Терновского и сделала его своим *directeur de conseil* (советником. – Пер. с фр.). Привела она его к дедушке, находя, вероятно, что старику на пороге вечности полезно иметь духовного руководителя.

Терновский был высокий, грузный старик с большими разлетающимися волосами и остроконечной бородкой а la Napoleon. Глаза хитро поблескивали из-за золотых очков, а губы сладко улыбались.

При докладе о нем дедушка морщился и усыпал меня прочь, а тетя Катя ловила меня в маленькой зале, подводила под благословение и

учила целовать руку батюшки. Исходи эта наука от кого-нибудь другого, я, вероятно, приняла бы ее, как должное; но так как требовала этого тетя Катя, то я решила, что все это “ломанье”, что это даже “стыдно” и первым делом возненавидела Терновского.

Случалось слышать мне, как тетя Маня, не стесняясь моим присутствием, в разговоре с мамой называла его Катиным попом и хитрым иезуитом. Последнее название меня очень заинтересовало, и я, не долго думая, обратилась за разъяснением незнакомого слова к самой тете Кате. Та, ничего не подозревая, растолковала мне, кто были иезуиты и какие это были плохие люди. После этого Терновский стал для меня вполне ясен.

О чем они беседовали с дедушкой – я не знаю, но, вероятно, Терновский не достиг своей цели, потому что посещения его становились все реже и реже.

Пасха в том году была поздняя. Семь лет мне исполнилось. Великим постом и я в первый раз вместе со взрослыми пошла к исповеди. Папа растолковал мне значение этого таинства.

Вообще, направление нашему религиозному воспитанию давал всегда отец, как человек более церковный, чем мать. Он требовал, чтобы я по воскресеньям ходила к обедне и иногда объяснял мне богослужение, которое сам знал превосходно. Но систематически в то время Законом Божиим со мною никто не занимался. Я сама охотно читала Ветхий и Новый Завет и Жития Святых, знала несколько молитв, хорошо читала по-славянски, и этим дело ограничивалось.

Пришла весна, и нам сказали, что на Гремячий мы не поедем, потому что мама не может оставить больного дедушку. Я была очень рада такому решению, потому что на Пресне нам жилось, пожалуй, привольнее, чем на Хуторе. Лужок перед домом и сад позади него нам казались степями и лесом, на лужке трава была так густа и высока, что закрывала нас с головой, а в кустах жимолости, росших посреди него, мы устраивали себе беседку и прятались в ней от любопытных взоров.

В саду были грядки с цветами и два великолепных дерева – старая, огромная липа, раскидывающая свой шатер от одного крыла дома до другого, и такая же красавица плакучая береза, клонившая свои ветви чуть не до земли. В углу сада, близ наших комнат, насыпалась гора песку на усладу и потеху всей меньшей братии. В сад мы выходили через окно большой залы, к которому на лето приставлялись две лестницы – одна изнутри, другая снаружи. Одним только Пресня уступала Хутору: здесь не было реки для купания, которое составляло мое любимое удовольствие...

В Василе жил молодой земский врач Семен Николаевич Зененко, малоросс по происхождению. Он вообще лечил семью Демидовых, а во время последней болезни дедушки (А.В. Демидова. – В.М.) все свое свободное время проводил на хуторе. Кроме желания облегчить страдания больного, его привлекала кроткая черноглазая тетя Катя. Виде-

ли это все, но никто не мог сказать, как относится к доктору молодая девушка. Всегда ровная, покойная, занятая болезнью отца и хозяйством, она не избегала его общества, но и не искала его. Родные надеялись, что Семен Николаевич воздержится от предложения, пока жив Александр Васильевич, и даст тете Кате возможность сделать свой выбор свободно, но, очевидно, молодому человеку не под силу было ждать, и он решил разом узнать свою участь. Тетя Катя, предчувствуя роковую минуту, никуда не отпускала от себя брата Колю, чтобы не остаться с доктором вдвоем, но однажды вечером мальчик изменил ей и умчался с балкона, на котором она стояла с Зененко. Через четверть часа тетя Катя вся в слезах пришла к матери и сказала, что доктор сделал ей предложение.

После разговора с бабушкой согласие было дано, но вся родня возмущалась принудительным способом жениха.

– Что было делать, бедной Кате? – говорили тетушки. – Отказать – значило потерять хорошего доктора в такую трудную минуту.

Не знаю, было ли сколько-нибудь правды в этих предположениях. В уезде Зененко не любили за его тяжелый, обидчивый характер и резкий язык, поэтому тетю Катю все жалели. Я же скажу, что разбирать симпатии и их причины очень трудно. Тетя Катя и дядя Сеня живы до сих пор. Много в жизни обоих было тяжелого, но я уверена, что ни одному ни на минуту не пришлось в голову раскаяться в выборе. А для нас дядя Сеня с течением времени сделался близким и любимым человеком и надежнейшим другом во время испытаний.

Жених торопил со свадьбой, да и бабушка не затягивала ее, понимая, что конец дедушки близок и что тогда придется отсрочить свадьбу дочери надолго. Тихо и грустно отпраздновали свадьбу в июле, а на другой день дедушка Александр Васильевич скончался.

Папа уехал на хутор, взяв длинный отпуск. А у нас в Москве продолжалось все то же. Летом у дедушки был новый удар, очень тяжелый, и никто не думал, что он останется жив. Однако могучая природа взяла свое, и дедушка оправился и на этот раз, хотя уже больше не пытался ходить по комнатам.

Я забыла рассказать, что в последний год его жизни П.М. Третьяков просил у дедушки позволения написать с него портрет для своей галереи. Дедушка пожал плечами.

– К чему? Кому это нужно? – сказал он.

Но Третьяков так упрашивал, что отказать было трудно, да и дочери уговаривали отца согласиться на эту просьбу.

Портрет был поручен художнику Перову, который и написал его вполне удовлетворительно. Жаль только, что Третьяков не догадался сделать это раньше, когда дедушка был здоров; тогда бы он получил портрет живого человека. Теперь же это вышел портрет умирающего старика с глазами, устремленными “за грань земного бытия”.

Прошло лето. Настал сентябрь.

– Скоро ли вернется Платон? – с тоской спрашивал дедушка маму. – Не доживу я до него.

А папу задерживала на хуторе бабушка, которой надо было помочь разобраться в делах по имению, оказавшихся после смерти дедушки в большом беспорядке. Сама она решила поехать в Нижний и заняться воспитанием детей Каргеров, а для имения надо было найти толкового управляющего.

– Ольга, пиши Платону, чтобы приезжал скорее! – упранивал дедушка.

Мама писала и даже телеграфировала. Услыхав о тревожном положении отца, приехал и дядя Леля.

– Ну вот, Арслан, теперь вы все тут, – облегченно вздохнул дедушка. – Только бы Платон поторопился!

Папа приехал без предупреждения утром 17-го сентября, в день своего рождения.

– Платон Александрович приехал! – понеслось по всему дому. Дедушка, давно не пытавшийся ходить, при этом известии встал с постели и без посторонней помощи вышел в переднюю встречать дорогого гостя, чем напугал всех домашних. Его подхватили и повели обратно в гостиную.

– Слава Богу! Слава Богу! – все время твердил он со слезами на глазах. – Вот я и дождался тебя! – он гладил папу по плечу.

Весь день он был весел и оживлен, как никогда, участливо и подробно расспрашивал о бабушке Анастасии Николаевне и о положении семейных дел вообще.

– Вот теперь хорошо: все вы тут! – несколько раз повторил он, глядя на собравшихся детей.

Ночью с дедушкой сделался седьмой и последний удар, после которого он уже не приходил в сознание, но прожил еще трое суток.

22 сентября 1872 г. его не стало.

Смерть его была мирна и покойна, как мирна была его душа. Он так готовился к ней, так ждал ее, что она явилась как бы венцом его желаний и ни в ком не оставила горечи.

Дедушка заранее распорядился своим погребением. Прежде всего, боясь быть похороненным заживо, он взял с детей слово, что его опустят в землю не раньше, чем обнаружатся явные признаки разложения. Затем просил положить себя в простой дубовый гроб без всяких украшений, без цветков и венков.

Так все и сделали. В маленькой зале стояло тело дедушки четыре дня без всяких признаков тления, и только на пятый день его вынесли в церковь. После того, как приглашенные врачи категорически подтвердили несомненность смерти. Много служилось панихид, и много пребывало народа, желавшего проститься с В.И. Далем.

Меня почему-то не взяли на похороны. Не была на них и тетя Маня, которая так боялась покойников, что ни разу не могла себя заставить подойти и заглянуть в лицо отцу.

Вместе с дедушкой отлетела душа старого дома и распалась ютившаяся вокруг него семья.

1922 г.

Публикацию подготовил

В.Ф. Молчанов,

кандидат исторических наук



*Словарь В.И. Даля
в редакции И.А. Бодуэна де Куртене*

*А.М. МОЛДОВАН,
доктор филологических наук*

Когда на рубеже 19-го и 20-го столетий издательство М.О. Вольфа задумало осуществить третье издание “Толкового словаря живого великорусского языка” В.И. Даля (первое издание вышло в свет в 1863–1866 гг.; подготовку второго, исправленного и дополненного издания В.И. Даль не успел завершить, оно было опубликовано посмертно в 1880–1882 гг.), оно исходило из того, что этот словарь представляет собой “всю наличность слов и оборотов родной речи, со всеми местными особенностями и оттенками” и, следовательно, новое издание необходимо обществу как пособие по актуальному словоупотреблению. Эту точку зрения разделяли в то время известные ученые, несмотря на то, что словарь был далек от академических требований. Была ли у издательства и редакторов возможность радикально переделать словарь В.И. Даля или составить на его основе какой-то другой, может быть, более корректный в научном отношении? Для ответа на этот вопрос нужно представлять себе, чем был словарь Даля тогда, в конце XIX века.

В своем известном “Напутном слове” В.И. Даль писал, что целью своего труда он поставил “выработать из народного языка язык образованный”. Он впервые в русской лексикографии соединил в словаре книжную лексику (взятую из академических словарей) со словами живой народной речи. “Толковый словарь живого великорусского языка” получился огромным по объему (свыше двухсот тысяч слов). И все-таки, несмотря на такой беспрецедентный даже для нашего времени объем, это не был в строгом смысле слова тезаурус, т.е. есть словарь, представляющий язык во всей полноте его литературной и областной лексики. Даль и не ставил перед собой такой цели: из академического “Словаря церковнославянского и русского языка” (1847 г., около 115 тыс. слов)

он не включил в свой словарь около 15 тысяч, отказавшись от многих церковно-книжных и устаревших слов. Из разговорной речи в словарь не вошли формы, “умничаемым искаженные и столь удачно прозванные галантерейными” – типа *патрет, киятер, полухмахер* и т.п. Не помещена общенная, т.е. непристойная, лексика. Не представлена ономастика. По словам Даля, он хотел дать “полное собрание слов *очищенного* обиходного русского языка”. В то же время он стремился от каждой основы выстроить полные словообразовательные цепочки и включал в словарь производные слова, теоретически возможные, но реально в языке не употреблявшиеся или употреблявшиеся редко (*вдовничать, вдовствование, вдовишник, вдовишна* и др.).

Иностранные слова приведены Далем в качестве “временных жильцов” в языке. Для их замены словарь предлагает списки слов, в том числе неологизмов, созданных самим Далем: консерватор – *боронитель, сохранитель, охранитель, охранник*; эгоист – *себялюб, самотник, себятник* и т.п. Для удобства борьбы с заимствованиями и формирования аналогичных русских терминов иностранные слова с одинаковым формантом составлялись вместе, даже если были разными. Так, в статье **АРХЕОГРАФИЯ** объединены слова *археология, архив* и *архиварий*; в статье *библия* – слова *библиотека, библиомания, библиография* и производные. Далю, очевидно, казалось, что если разместить в одной статье иноязычные слова, этимологически родственные в языках-источниках, и предложить для каждого из них русские эквиваленты, это будет способствовать разработке средствами русского языка соответствующего семантического поля – чтобы можно было заменять иностранные слова русскими не поодиночке, а целыми блоками.

Менее всего можно считать словарь В.И. Даля нормативным: в него включена разнообразная просторечная, диалектная, жаргонная и др. лексика, а у слов литературного языка, взятых из академического словаря, сняты стилистические пометы, чтобы они не создавали препятствий для синтеза книжных и простонародных слов.

Но, вопреки расхожему мнению, это и не диалектный словарь, хотя он до сих пор является ценным источником по русской диалектной лексике. Известное высказывание В.И. Ленина о том, что “Толковый словарь живого великорусского языка” – это областнический словарь, говорит о поверхностном знании предмета и вводит в заблуждение. На самом деле диалектная лексика занимает всего лишь одну треть словаря Даля. Большую часть его составляет общенародная лексика – литературные слова, городское просторечие, профессиональные термины, социальные жаргоны и т.д.

При этом описание собственно диалектной лексики у Даля не удовлетворяет ряду требований, предъявляемых к словарю народных говоров, прежде всего двум основным: во-первых, у Даля представлена лишь сравнительно небольшая часть употреблявшихся и бытующих

теперь на обширной территории русского языка областных слов; во-вторых, отсутствует или является крайне неполной документация сведений о слове (где и когда оно записано, варианты форм, грамматические сведения, особенности употребления и т.п.), пометы типа *иск.*, *смл.*, *тмб.* встречаются лишь от случая к случаю. На необходимость этих сведений Даля указали составители “Опыта областного великорусского словаря”, когда он предложил им свое сотрудничество. В связи с этим Даль писал, что если бы он документировал свои записи по всем правилам, он никогда бы не написал свой словарь. Собственно диалектным и был готовившийся параллельно и вышедший раньше “Опыт областного великорусского словаря” (1852 г.) и большое “Дополнение” к нему (1858 г.). Его авторы регистрировали диалектизмы в качестве материала для изучения территориальных диалектных систем и истории русского языка.

В.И. Даля эта научная сторона дела не увлекала, диалектная лексика была для него материалом “для развития образованной, разумной русской речи, взамен нынешнего языка нашего, каженика”. Даль считал, что народный язык “силен, свеж, богат, краток и ясен”, тогда как письменный язык “видимо пошлеет, превращаясь в какую-то пресную размазну”. Правда, он не настаивал на том, чтобы все областные слова вошли в книжную речь, но все же, как он полагал, “мы должны изучить простую и прямую русскую речь народа и усвоить ее себе, как все живое усвоет себе добрую пищу и претворяет ее в свою кровь и плоть”.

Уникальность словаря В.И. Даля обнаруживается в том, что он соединил в себе свойства различных типов словарей, подчинив их этой литературной сверхзадаче. В частности, информативности словарных статей составитель придавал большее значение, нежели единообразию их структуры. В результате авторские рассуждения и разнообразная информация – технические детали, энциклопедические и житейские подробности, составившие местами целые этнографические этюды, – всего этого оказалось так много и это так интересно, что являет собой самостоятельное достоинство словаря. Например, при слове *масть* приводятся и объясняются до пятидесяти названий конских мастей, при слове *гриб* – десятки видов грибов, при слове *брюква* – двадцать два местных названия этого корнеплода и т.д. Некоторые статьи написаны полностью в энциклопедическом жанре – они пространны, содержат классификацию предметов или понятий, в них указываются смежные понятия и т.п. (например, *безпоповщина*). В статье «БАГАТЬЕ... “огонь”» есть такая простодушная, типичная для Даля ремарка: “Пишу *багатые* а не *богатые*, потому что сомневаюсь, от одного ли корня слово это с *богатством*”. Заметим, что сомнение здесь вполне уместно: и по сей день это слово не имеет общепринятой этимологии. То, что было бы недопустимо в академическом издании, привело к созданию со-

кровишницы, дающей материал для многообразных продолжений. В словаре приводятся свыше тридцати тысяч пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений.

Диалектная лексика до В.И. Даля собиралась весьма неудовлетворительно и невысок был уровень ее историко-этнографической и грамматической изученности. Словарь Даля дал сильный импульс для составления диалектных словарей и стал пособием для дальнейших записей.

Бодуэн де Куртенэ не разделял взглядов Даля на критическое состояние русского языка и не считал необходимым и возможным реформировать его тем способом, который предлагал Даль и для которого он создал свой словарь.

Почему же он не пожалел времени и трудился над чужим словарем более семи лет, не имея возможности изменить его содержание, и почему он не попытался полностью переделать его, как он говаривал, “по всем правилам лексикографического искусства”?

По признанию самого Бодуэна, он сделал это из уважения к труду Даля, понимая свою задачу прежде всего в усовершенствовании внешней отделки словаря, исправлении ошибок и включении слов, “почему-либо пропущенных Далем, а также тех новых слов, которыми обогатился живой русский язык за последние годы. Но Даль должен был остаться Далем – и он им остался”.

Переработка и дополнение текста словаря было осуществлено по инициативе издательства, опиравшегося на мнение известных ученых – академиков А.И. Соболевского, А.Н. Пыпина, профессоров Е.Ф. Будде, С.К. Булича, В.Ф. Миллера, Н.П. Дашкевича, А.С. Будиловича и др. Обращение издательства к Бодуэну де Куртенэ не было случайностью. Бодуэн был не только академическим ученым, но и опытным лексикографом, автором и руководителем работы над “Старопольским словарем”, редактором многотомного Варшавского словаря польского языка и других. Помощником Бодуэна в работе над “Словарем живого великорусского языка” был Р.А. Теттенборн.

Подготовка издания осуществлялась по следующим направлениям. Родственные и псевдородственные слова, описанные Далем без учета их алфавитной последовательности, по словарным “гнездам”, получили отсылочные пометы в соответствии с их алфавитным местом. В ряде случаев, когда у Даля в одной статье обнаруживались слова, не связанные в русском языке словообразовательными отношениями, Бодуэн разносил их в отдельные статьи. Например, в статье АКТ были слова *актер* и *акция*; слово *бандаж* находилось в статье БАНДА; в статье БЕЗЛАПОТНЫЙ помещалось также слово *безлапый* и т.д. В 3-м издании. Эти слова разведены.

В других случаях, где семантическая связь между словами в какой-то мере сохранялась, Бодуэн оставлял их в одной статье: например, в ста-

тьс АРМИЯ им оставлены не только *армейские, армеец, армейщина* и т.п., но и *армада, армадил* “млекопитающее броненосец”, *арматор, арматура* и производные. Надо сказать, что таких слов, которые следовало бы разнести в самостоятельные статьи, Бодуэном оставлено немало. В частности, в статье АРХЕОГРАФИЯ сохранены слова *археология* (которая так и не получила самостоятельного статуса, хотя в определении сказано, что археография – часть археологии), а также *архив и архивный*. В статье АСТРОГНОЗИЯ “знание созвездий” – слова *астрология, астрометр, астрология, астрономия* и производные от них. В статье АУДИТОР – слова *аудитория* и *аудиенция*. В статье БИБЛИЯ – слова *библиотека, библиомания, библиография* и производные.

В ходе редактирования словаря Бодуэном де Куртенэ были выявлены и разнесены в разные статьи сотни омонимов, например: *весёлка*¹ от *веселие* и *весёлка*² – от *весло*. Но Бодуэн не был этимологом, и поэтому не все его исправления оказались в равной степени удачными. Например, слово *варега* разделено им на омонимы: *варега*¹ “рукавица”, *варега*² “вялый, пустой, беспутный” и *варега*³ “то же, что *варга* (т.е. “рот, уста, зев, пасть”)”. На самом деле *варега*¹ и *варега*², вероятнее всего, связаны с одним общим словом *варяг* (см.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I. С. 274), а в тождестве слов *варега*³ и *варга* сомневался и сам Даль.

С другой стороны, Бодуэн нередко оставляет без исправления омонимы и омоформы, которые Даль, считая родственными словами, объединял в одной статье. Например, в статье ВАРГА “рот, уста, зев, пасть” оставлено в качестве производного слово *варган* “примитивный музыкальный инструмент”, которое на самом деле через польское посредство восходит к лат. *organum*, и слово *варганить*, которое восходит к народн. *варганка*, искаженному *вагранка* (под влиянием *варган*) от австрийского топонима *wagrain*.

Начиная с буквы *Н* редакторы более радикально вводили алфавитный порядок, помещая однокоренные слова в отдельные статьи, хотя не отказались совсем от гнездового расположения производных. Например, слово *сожитель* выделено из статьи *сживать* вместе с родственными словами *сожительство, сожить, соживать, сожитие*.

Наиболее слабым местом в словаре Даля считается этимологическое объяснение слов. Здесь проявились и его незнание других славянских языков и недостаточность лингвистического образования. Верными этимологиями словарь, в основном, обязан “Этимологическому лексикону русского языка” Ф.И. Рейфа, который В.И. Даль использовал; самому же Далю чаще принадлежат рассуждения, основанные на простом фонетическом сходстве слов, например: “ВОТРУХА, *вотрушка* по востч. произн., см. *ватрушка*; но, кажется, *вотруха* сродно с *вотря*, в значении начинки; тогда *вотруха* правильное. *Вотря, нутро* и *утро-*

ба, не общего ли корня?». Все эти предположения Бодуэном де Куртенэ оставлены как неотъемлемая часть авторского текста Даля.

В тех случаях, когда у Даля были даны просто указания на источник заимствования слова (напр. “нем.”), Бодуэн приводит соответствующие иностранные слова: ДРАТВА [польск. *dratwa*] нем. [*Draht*]. Но Бодуэн не добавлял этимологических сведений, если их у Даля вообще не было (см. например, слова *вата*, *керакса*, *кератит* и др.).

Помимо исправлений в словаре были сделаны дополнения в виде новых словарных статей, расширения информации, уточнений, отсылок и т.п. Чтобы эти дополнения не смешивались с текстом Даля, они приведены в квадратных скобках. Бодуэн дополнял его, с одной стороны, диалектными словами (по своим записям и новым изданиям словарей) и научными терминами иноязычного происхождения, в частности, из зоологии и биологии. С другой стороны – сведениями об изменениях в значениях слов, происшедших в языке за истекшие годы. Была включена в словари “неприличная” лексика. Приведенные в предисловии к 3-му изданию подсчеты редакторов показывают, что разнообразные дополнения составили более 20 процентов всего объема словаря. При этом словник увеличился примерно на 20 тысяч новых слов и составил не менее 220 тысяч слов. Бодуэн де Куртенэ много путешествовал и собирал диалектные материалы. Это позволило ему во многих случаях дополнить приведенные у Даля указания на область распространения слова. Так, у Даля к слову *веньгуша* “плаксивый человек” даются пометы *вят.*, *перм.*, а Бодуэн добавляет: *вологод.*, *сиб.*; к слову *весельство* “радость, удовольствие” у Даля помета *арх.*, Бодуэн прибавляет еще две пометы *каз.* и *вят.* и т.д.

То, что Бодуэн де Куртенэ не ограничился только исправлением внешней стороны словаря – поправками и алфавитным упорядочением словника – а стал его дополнять, говорит об очень важном: в конце XIX века словарь все еще воспринимался как отражающий реальное состояние живого русского языка. И тогда понятно, почему Бодуэн взялся за эту работу. Его, так же, как и Даля, интересовал прежде всего живой язык, с его устройством, социальной дифференциацией и происходящими в нем процессами, территориальными диалектами и социолектами. Достаточно упомянуть, что в 1908 г. под редакцией Бодуэна де Куртенэ и с его предисловием вышел словарь В.Ф. Трахтенберга «Блатная музыка (“Жаргон” тюрьмы)». Подобно Далю, Бодуэн понимал, что литературная речь питается народными корнями, и для правильного понимания состояния языка эти ресурсы должны быть доступны в словаре.

Поскольку Бодуэн де Куртенэ считал словарь Даля отражающим современное состояние русского языка, ему казалось естественным показать в нем изменения в значениях некоторых слов, отмечая специальным знаком выпавшие из употребления слова. Впервые в русской ле-

лексикографической практике в этом издании учитывался социолингвистический аспект, и в словарь включались фразы из выступлений представителей различных политических партий и направлений, не исключая “обрусителей”, “антисемитов”, “официальных патриотов”, так называемых “черносотенцев” и др. Бодуэн де Куртенэ писал в предисловии к словарю о том, что “весьма почтенные и заслуживающие глубокого уважения” слова “патриот” и “патриотизм” «взяты в исключительную аренду известными “партиями” и группами и получили вследствие этого... разбойничий, погромный и карательный оттенок». По мнению Бодуэна, оставлять подобные выработанные жизнью оттенки не отмеченными, когда представляется возможность их зафиксировать, было бы упущением в словаре русского языка. Это же относится к слову “партия”, которым уже в то время могла называться “какая-нибудь небольшая, но сильная поддержкою сверху кучка интриганов, затеявшая заговор против народа”. Предвидя, какое негодование у представителей правых сил вызовут эти дополнения, Бодуэн де Куртенэ объяснял: “Если воззрения хотя бы только известной части народа жестоки и нелепы, они таковыми же должны быть зарегистрированы лексикографом”.

С другой стороны, в 3-е издание были включены дополнения из вышедших в 1895-м и 1907 годах томов “Словаря русского языка, составленного Вторым отделением Академии наук” под редакцией Я.К. Грота и А.А. Шахматова (до буквы З). В основном, это были книжные слова и слова с новыми переносными значениями, отсутствовавшие у Даля. Так, в третьем издании появляются слово *виадук*, новые значения у слов *винегрет* “ирон. вообще смесь разнородных предметов”, *вокзал* м. “железнодорожный путевой двор, дебаркадер, строение, где собираются пассажиры для отъезда” и т.д. Воспринимая словарь Даля как собрание всех слов русского языка, а не нормативное пособие, Бодуэн не видел оснований для исключения из него и ненормативной и даже матерной лексики: “Раз известные слова существуют в умах громадного большинства народа и беспрестанно высказываются наудачу, лексикограф обязан занести их в словарь, хотя бы против этого восставали и притворно негодовали все лицемеры и тартюфы, являющиеся обыкновенно большими любителями сальностей по секрету”.

Рассматривая словарь Даля как лексикографическое пособие для носителей русского языка, Бодуэн де Куртенэ счел необходимым преобразовать орфографию словаря. Он ввел в новое издание букву *ё*, в частности, для того, чтобы обозначить на письме мягкость согласного перед *о*: *берёза*, *берёста* и т.п. После шипящих он последовательно пишет *о* независимо от их твердости или мягкости, так что, например, у Даля: ЖЕНА... *женка*, а у Бодуэна исправлено: *жонка*. Аналогично: *щотка*, *чорный* и др. Были восстановлены написания с двумя согласными в словах *русский*, *аббат*, *корректур*, *кассир* и др. В некоторых

прилагательных сд. ч. окончание род. п. *-аго* заменено на *-ого*: *живого, простого, но новаго, даннаго, настоящаго, исправленнаго и дополненнаго, напряжоннаго*. В названии словаря было “... *живаго великорускаго...*”, а стало “... *живога великорускаго...*”.

Благодаря Бодуэну де Куртенэ словарь Даля, ценный своим уникальным содержанием, приобрел черты научного пособия. По словам академика В.В. Виноградова, «можно и даже должно не соглашаться с некоторыми лексикографическими и вообще лингвистическими взглядами проф. И.А. Бодуэна де Куртенэ, но нельзя не признать высокой ценности его труда по редактированию, исправлению и пополнению “Толкового словаря” Даля».

Третье издание вышло в 1903–1909 гг. и в дальнейшем трижды переиздавалось репринтным способом в 1911–1912 гг., 1934 г. (в Японии) и в 1994 году.

Вышел в свет первый номер международного **научно-теоретического журнала “Русский язык в научном освещении”**, основанного в январе 2001 г. Институтом русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук. Журнал посвящен актуальным проблемам русского языка во всей совокупности его форм существования, функционированию, происхождению, истории, взаимодействию с другими языками и современному состоянию. В журнале рассматриваются также вопросы стилистики и поэтики, языка и культуры, лингвистического источниковедения, текстологии, палеографии и т.п. Значительное место занимают обзоры новой научной литературы, рецензии, информационно-хроникальные материалы, а также публикации ранее не издававшихся письменных источников, диалектных записей, архивных документов.

В первом номере журнала опубликованы исследования *Ю.Д. Апресяна, И.М. Богуславского, М.Л. Гаспарова и Т.В. Скулачевой, Д.О. Добровольского, Е.А. Земской, Г.А. Золотовой, Л.Л. Касаткина, Л.П. Крысина, Е.В. Падучевой, А. Тимберлейка, Е.Н. Ширяева* и других видных отечественных и зарубежных русистов.

Журнал выходит два раза в год в издательстве “Языки славянской культуры”. По вопросам подписки и приобретения журнала обращаться в редакцию по адресу: 121019, Москва, ул. Волхонка 18/2, Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, редакция журнала “Русский язык в научном освещении”. Тел.: (095) 201-79-92, факс: (095) 291-23-17, e-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru.



“Тоска по родине, как душевная болезнь”

Е.А. ПОПОВА,

кандидат филологических наук

Именно так объясняется слово *ностальгия* (устаревшая форма – *ностáлгия*) в “Толковом словаре живого великорусского языка” В.И. Даля (М., 1989. Т. II). Ни один из последующих толковых словарей русского языка таких компонентов значения, как “душевная” и “болезнь”, в лексическом значении этого слова не выделяет, хотя они очень важны для понимания сути того чувства, которое обозначается словом *ностальгия*. (Ср.: “*Ностальгия. Книжн. Тоска по родине, по родному дому*” – Словарь русского языка: В 4 т. М., 1983. Т. II). Аналогичным образом представлено лексическое значение этого слова в “Толковом словаре русского языка” под ред. Д.Н. Ушакова, “Словаре современного русского литературного языка” в 17 т., “Словаре русского языка” С.И. Ожегова, а также во всех словарях иностранных слов.

Слово *тоска* относится к классу слов, соответствующих уникальным русским понятиям и несущих наиболее полную информацию о русском народе, его мировосприятии – одним словом, о “русской душе” как о сути русского человека. Не случайно компонент значения “душа” или “душевный” входит в лексическое значение слова *тоска*: “*Тоска. Тяжелое гнетущее чувство, душевная тревога*” (Словарь русского языка: В 4 т. М., 1984. Т. IV); “*Тоска (теснить?) стеснение духа, томление души, мучительная грусть; душевная тревога, беспокойство, боязнь, скука, горе, печаль, нойка сердца, скорбь. Тоска по родине обращается иногда в телесную болезнь с изнурительною лихорадкой*” (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1991. Т. IV). Следовательно, любая тоска – это болезнь души, а тоска по родине (ностальгия) – болезнь неизлечимая, где душевные и физические муки нераздельны. И Даль как врач определил это очень точно.

В произведениях русской литературы можно найти подробное описание душевной болезни, называемой греческим словом *ностальгия*. Тверской купец Афанасий Никитин одним из первых в русской литера-

туре рассказал о тех чувствах, которые испытывает человек на чужбине. (По Далю, чужбина – чужая сторона, место вне родины, оседлости, жительства.) Русский лингвист Н.С. Трубецкой так определил специфику “Хождения за три моря”: «Это не есть простое описание любопытных путевых приключений или диковин, виденных в далеких странах, а повесть о том, как несчастный православный христианин, “рабище божие” Афанасий, занесенный судьбой в нехристианские страны, страдал от своего религиозного одиночества и тосковал по родной христианской обстановке. Только с этой стороны и можно подходить к “Хождению” как к литературному произведению» (Трубецкой Н.С. “Хождение за три моря” Афанасия Никитина как литературный памятник // Семиотика. М., 1983. С. 452). Единственная молитва о Руси в “Хождении за три моря” написана по-татарски и без русского перевода, что, по мнению Н.С. Трубецкого, объясняется своеобразной символической религиозного одиночества, когда символ “прямо противоположен символизируемому состоянию” (Там же. С. 448). Эта молитва включает в себе несдержанное проявление горячей любви Афанасия Никитина к родине: “Русскую землю Бог да сохранит! Боже сохрани! Боже сохрани! На этом свете нет страны, подобной ей! Некоторые вельможи Русской земли несправедливы и недобры. Но да устроится Русская земля! Боже! Боже! Боже! Боже! Боже!”.

То, что ностальгия – это болезнь, недуг души, хорошо видно из стихотворений великого князя Константина Романова (поэта К.Р.). (“Русская речь” была первым изданием, которое возвратило из небытия имя этого крупного деятеля русской культуры: см. 1991. № 5.) В последнем стихотворении из цикла “Венеция” (“На площади Святого Марка...”) описывается церковная служба, на которую лирического героя “влекло неведомою силой”. И глядя на строгие лики святых угодников, он невольно вспомнил иконы “матушки России”:

Моя душа крылатою мечтою
Перенеслась на родину, туда,
На север, где теперь, согретая весною,
Душистая черемуха цветет,
Благоухают пышные сирени,
И песни соловей поет...
В уме столпилось столько впечатлений!
И вздохом я вздохнул таким,
Каким вздохнуть один лишь Русский может,
Когда его *тоска по родине изложжет*
Недугом тягостным своим.
(здесь и далее курсив наш. – Е.П.)

Эта тема продолжена в стихотворении “Растворил я окно, – стало грустно невмочь...”, ставшем знаменитым романсом, музыку к которо-

му написал П.И. Чайковский, и, пожалуй, визитной карточкой поэта К.Р.:

Растворил я окно, – стало грустно невмочь, –
Опустился пред ним на колени,
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени.

А вдали где-то чудно так пел соловей;
Я внимал ему с грустью глубокой
И с тоскою о родине вспомнил своей;
Об отчизне я вспомнил далекой,

Где родной соловей песнь родную поет
И, не зная земных огорчений,
Заливается целую ночь напролет
Над душистою веткой сирени.

Но тосковать можно не только по родине “в обширном значении”, которая, по Далю, есть “земля, государство, где кто родился”, но и по родине “в тесном значении” – “городу, деревне” (М., 1991. Т. 4). “Непобедимую” тоску по родине – станции Прогонной – испытывает герой рассказа Чехова “Убийство” Яков Терехов. Эта тоска заставляет его бежать с каторги, куда он попал за убийство двоюродного брата Матвея. Но его поймали, наказали плетью и приговорили к бессрочной каторге: “Дрожа от осеннего холода и морской сырости, кутаясь в свой короткий рваный полушубок, Яков Иванович пристально, не мигая, смотрел в ту сторону, где была родина, (...) Он вглядывался напряженно в потемки, и ему казалось, что сквозь тысячи верст этой тьмы он видит родину, видит родную губернию, свой уезд, *Прогонную* (курсив автора. – Е.П.), видит темноту, дикость, бессердечие и тупое, суровое, скотское равнодушие людей, которых он там покинул; зрение его туманилось от слез, но он все смотрел вдаль, где еле-еле светились бледные огни парохода, и *сердце сжимало от тоски по родине*, и хотелось жить, вернуться домой, рассказать там про свою новую веру и спасти от гибели хотя бы одного человека и прожить без страданий хотя бы один день”.

У Даля в сборнике “Пословицы русского народа” есть рубрика “Родина – Чужбина”. Большинство пословиц, включенных в эту рубрику, имеет оценочный характер: Глупа та птица, которой гнездо свое немило; И кости по родине плачут; За морем теплее, а у нас светлее; С родной сторонки и ворона мила; На чуждой стороншке рад своей воронушке; Своя земля и в горсти мила; Без корня и полынь не растет; Дома все споро, а вчуже житье хуже; На чужой стороне и весна не красна! На чужбинке, словно в домовинке (и одиноко, и немо); Чужая сторона – мачеха; Чужбинка не по шерсти гладит; Родимая сторона – мать, чужая – мачеха; На чужбине и собака тоскует; Родных нет, а по роди-

мой стороне сердце ност; Своя сторонунка и собаке мила; С родной (родительской) земли умри, не сходи (Пословицы русского народа: Сб. В. Даля: В 3 т. М., 1993. Т. 2. С. 8–16).

В пословицах, собранных В.И. Далем, нашел отражение многовековой практический опыт народа, его оценка родины и чужбины, в частности, то, что любовь к родине “в обширном” и “тесном” значении – святое для русского человека чувство, которое сравнимо только с любовью к матери. С другой стороны, и семантическая категория чуждости, сопрягаемая с категорией отрицательной оценки (“чужое – плохое”), с максимальной полнотой выражена в пословицах о родине и чужбине. А в целом противопоставления “родина – чужбина”, “родное – чужое”, “у нас (дома) – на чужой стороне” и др. относятся к средствам реализации понятия “свое – чужое”, пронизывающего любую национальную культуру, в том числе и русскую.

Это противопоставление часто имеет ярко выраженную оценочность (“свое – хорошее”, “чужое – плохое”), которая характерна для произведений писателей русского зарубежья. Бунин, Шмелев, Зайцев, Осоргин, Куприн и другие писатели-эмигранты, сами тоскуя по родине, наделили этим чувством героев своих произведений. Например, Шмелев в сказовом романе “Няня из Москвы” вложил в уста тульской крестьянки Дарьи Степановны Синицыной, оказавшейся вместе со своей воспитанницей Катичкой за пределами России, такие слова: “...не глядела бы ни на что. К чужому *свое* не прирастет. На солнышко гляжу – и солнышко-то не *наше* слово, и погода не *наша*, и... Ворона намени, гляжу, на суку сидит, каркает ... – совсем, будто, *наша* ворона, тульская!... Поглядела – не *та* ворона, не *наша*... У нас в платочке”.

Ностальгия превращает утраченную навсегда родину в потерянный рай – одновременно пространственный и временной. Там, в России, тогда было счастье, которое здесь, на чужбине, сейчас сменилось несчастьем, тоской, невыносимой болью:

“Опять холодные седые небеса,
Пустынные поля, набитые дороги,
На рыжие ковры похожие леса.
И тройка у крыльца, и слуги на пороге...”

– Ах, старая наивная тетрадь!
Как смел я в *те* года гневить печалью Бога?
Уж больше не писать мне этого “опять”
Перед счастливою осеннею дорогой!
(Бунин. “Опять холодные седые небеса...”);

*Бессмертное счастье наше
Россией зовется в веках.
Мы края не видели краше,
А были во многих краях.*

(Набоков. Родина);

“Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом березовом лесу поблизости от нас – и пели.

Это было давно, это было бесконечно давно, потому что *та жизнь*, которой все мы жили в *то время*, не вернется уже веками. (...) *бесконечно счастливы* были мы в *те дни*, теперь уже *бесконечно далекие* – и *невозвратимые*” (Бунин. Косцы).

Слово *ностальгия* относится к числу заимствований, “чужесловов”, с которыми Даль всю жизнь вел активную борьбу. Однажды он заметил славянофилу И.С. Аксакову: “При всем своем презрении к Европе, дорогой Иван Сергеевич, вы употребляете в своих произведениях чрезмерное количество иностранных слов”. А историк М.П. Погодин Даль упрекал за употребление таких слов, как *феодальный, аристократия, эпоха, система, форма, характер, пропаганда, сцена*. Погодин закончил полемику словами: “Наш спор становится смешным”. Хотя Далю были не по душе “прыткие набиратели и усвоители всех языков запада” (Даль В. Напутное слово // Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. I. С. XXXII), но “чужесловы” он из языка и словаря не исключал по следующим причинам: “во-первых, словарь не законник, не уставщик, а сборщик; он обязан собрать и дать все то, что есть, позволяя себе разве только указания на неправильность, уклонения и примеры для замены дурного лучшим; во-вторых, долг его перевести каждое из принятых слов на свой язык, и выставить тут же все равносильные, отвечающие или близкие ему выражения русского языка, чтобы показать, есть ли у нас слово это, или его нет. От исключения из словаря чужих слов их в обиходе, конечно, не убудет; а помещение их, с удачным переводом, могло бы иногда пробудить чувство, вкус и любовь к чистоте языка” (Там же).

Идея “удачного перевода”, обязательного национального соответствия иностранному слову Даль следовал постоянно. В “Толковом словаре живого великорусского языка” – немалое количество заимствований: только тех, которые сопровождаются указанием на язык-источник, – 1420, а сочиненных эквивалентов около 250. Вопреки желанию автора, включившего в свой словарь иностранные слова лишь для того, чтобы показать превосходство над ними их синонимов – исконно русских слов – и таким способом изжить их из русской речи, большинство “чужесловов”, отмеченных в словаре, укрепилось в составе русского языка. Таковы общественно-политические термины (*аристократия, агитация*), финансово-экономические (*аукцион, вексель*), научные (*гипотеза, дефиниция*), слова из сферы быта (*визит, какао, пальто, кофе*). К числу таких слов относится и греческое заимствование *ностальгия* (В.И. Даль первым из русских лексикографов ввел его в словарь), хотя его русский синоним *тоска по родине* и более употребителен.

За время, прошедшее после первого (прижизненного) издания Сло-

варя Даля, слово *ностальгия* изменило звуковой и графический облик. Если в 3-м издании Толкового словаря Даля И.А. Бодуэн де Куртенэ дает два варианта: *ностáлгия* и *носталгíя*, в Словаре Ушакова и “Словаре современного русского литературного языка” представлены варианты: *носталгíя* и *ностальгíя*, то во всех последующих словарях *ностáлгии* и *носталгíи* уже нет.

Произошли также изменения в лексико-семантической структуре слова. Ностальгией стали называть не только тоску по родине, но и тоску по чему-либо минувшему, утраченному, и в некоторых словарях лексическое значение этого слова уже дается как многозначное (см. Музрукова Т.Г., Нечаева И.В. Краткий словарь иностранных слов. М., 1995; Скворцов Л.И. Культура русской речи. Словарь-справочник. М., 1995). Слово *ностальгия* обросло производными (*ностальгический, ностальгически, ностальгировать*), расширило сочетаемость. Однако основное значение этого слова (“тоска по родине, как душевная болезнь”) точнее всего представлено в Далеовом словаре. Русский “перевод” был настолько удачен, что вернул слову *ностальгия* исходную этимологию: греч. *nostos* – возвращение домой и *algos* – боль, страдания.

“Толковый словарь живого великорусского языка” – главный труд жизни В.И. Даля – несмотря на то, что вышел в свет более 130 лет назад, до сих пор остается символом толкового словаря русского языка и – шире – русского словаря, потому что толковый словарь – это высший тип словаря национального языка. И в наши дни постоянно слышишь: “посмотрю у Даля”, “у меня есть Даль”. Хотя после Даля выходили другие словари, более современные и совершенные, но только “Толковый словарь живого великорусского языка” приобрел общенациональное значение, став символом культуры русского народа, так как “если язык, в понимании большинства славян, – народ, то и словарь каждого из их языков, в том числе и русского языка, должен быть картиной жизни этого народа” (Чернышев В.И. Избранные труды. М., 1970. Т. I. С. 427).

Липецк

МЕСТОИМЕНИЕ – ВМЕСТО ИМЕНИ?

И.Е. ШУВАЛОВА,

кандидат филологических наук

Несмотря на то, что число научных работ, посвященных русским местоимениям, постоянно растет, этот класс слов все еще остается довольно “трудным” и для ученых-исследователей, и для составителей толковых словарей, и для учителей и преподавателей. Чаще всего споры ученых возникают в связи с решением двух основных вопросов. Первый касается характера лексического значения местоимений. Одни исследователи считают его совершенно абстрактным, другие, напротив, абсолютно конкретным, третьи говорят об отсутствии у местоимения лексического значения, о “грамматическом” характере значения местоимений.

Второй вопрос, тесно связанный с первым, – о положении местоимений в системе частей речи русского языка. В одних случаях (в частности, в школьной грамматической традиции) местоимение считают одной из знаменательных (самостоятельных) частей речи, в других – относят к “полузнаменательной” лексике или даже к служебным словам, в третьих – вообще отказывают местоимению в статусе особой части речи и распределяют местоименные слова по разным лексико-грамматическим разрядам.

Время от времени в научной литературе возрождается мнение о “формальности” местоимения, о близости местоимений к служебным словам и об отсутствии у слов этого класса лексического значения. (Сопшемся на работы: Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. М., 1959; Овсяннико-Куликовский Д.Н. Синтаксис русского языка. СПб., 1902; Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. Л., 1941; Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М., 1988; Кацнельсон С.Д. Содержание слова, значение и обозначение. М.–Л., 1965; Жирмунский В.М. О природе частей речи и их классификации // Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. Л., 1968; Якобсон Р.О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972; Реформатский А.А. Местоимения // Очерки по фонологии, морфонологии и морфологии. М., 1979). Поводом к возрождению подобных идей, как правило, является рассмотрение местоимений не с морфологических позиций, а с точки зрения синтаксиса.

Важное место в синтаксических теориях занимают вопросы соотношения сообщаемого с ситуацией общения. Поэтому востребованной в данном случае оказывается способность местоимений выступать в качестве “технического” средства для указания на факты действительности, которые либо уже находятся в поле зрения говорящего и слушателя, либо должны быть внесены в это общее поле зрения. По своей функции местоимения близки к тем компонентам грамматического значения глагола, которые призваны выражать синтаксическую категорию предикативности, устанавливать отношение сообщаемого к ситуации речи. Эта особенность местоимений дает основание ученым говорить о “формальности”, “грамматическом” или “техническом” характере местоименного значения. Типична характеристика, которую дал местоимениям А.А. Реформатский: “Местоимения – это слова-указания, они не значат, а указывают на значимое. ...Местоимения – слова ситуационные, т.е. их значение определяется знанием ситуации речи; если собеседник знает, кто говорит, кому говорит, где говорит и когда говорит (а также то, что было до этого разговора и в результате чего этот разговор возник), то он сможет реально понять предложение *Я тебе сейчас это говорю* (Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1967. С. 59–60). В связи с этим местоимения часто характеризуются как “пустые”, “бессодержательные” слова, которые “ничего не называют”, “ничего не характеризуют”, значение которых всецело определяется ситуацией общения. Что такое *это*? В разных ситуациях местоимение будет обозначать совершенно разные предметы и явления.

“Ситуативный” характер местоименного значения иногда понимается слишком широко. Дело в том, что значение многих слов характеризуется относительностью: без знания ситуации невозможно до конца понять смысл таких слов, как *налево, впереди, появиться, показаться, отец, сестра, руководитель*. Подобные слова требуют уточнения, “по отношению к кому или к чему”, что дает повод некоторым исследователям говорить о “прономинальном”, то есть местоименном характере значений таких слов. Это едва ли верно, так как значение местоимений требует учета только позиций говорящего и адресата речи, значение “относительных” слов предполагает учет позиции наблюдателя (Апресян. Ю.Д. Избр. труды, т. 1. Лексическая семантика. М.: Школа “Языки русской культуры”, 1995. С. 68–69; Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1985. Вып. 16. Прагматика. С. 16), по отношению к которому и строится “система координат” сообщаемого в высказывании.

Поскольку местоимения характеризуются как “неполнозначные” слова, основанием для расширения класса местоименных слов может становиться и “ослабление значения” знаменательных слов. Так,

Л.И. Ушакова относит к числу местоимений, в частности, слова “*должный*” – к разряду указательных; *прочий, остальной* – к разряду определительных” (Ушакова Л.И. Местоимения и их аналоги // Русский язык в школе. 1998. № 1. С. 86–90).

Характеристика местоименного значения как формального, чисто ситуативного закономерно приводит исследователей к исключению местоимений из числа знаменательных слов. Показательно замечание Е.Н. Сидоренко: “С помощью различного рода конституативных конкретизаторов в ряде случаев можно достичь ложного эффекта приобретения местоимением лексического значения, но на самом деле это значение переменное, не закреплено за данным звуковым комплексом, зависит от контекста, ситуации..., поэтому не перекладывает слово из прономинальной лексики в полнознаменательную, обладающую номинативным значением” (Сидоренко Е.П. Очерки по теории местоимений современного русского языка. Одесса, 1990. С. 13).

Действительно, значение местоимений сильно отличается от значений “номинативных” слов (имени существительного, прилагательного, числительного, наречия, глагола). Однако это, как будет показано дальше, еще не повод исключать местоимение из числа знаменательных частей речи.

Совершенно противоположной точки зрения на местоимение придерживаются сторонники другой теории, рассматривающие местоименные слова в качестве эквивалентов (“заместителей”) имен существительных, прилагательных, числительных и наречий. В частности, Р.А. Будагов так писал о заместительной роли местоимений: «В местоимениях широко развита “заменяющая” функция, личные местоимения могут выступать вместо существительных (*он – друг – недруг – родственник* и т.д.), притяжательные и указательные – вместо прилагательных (*моя книга – та книга – хорошая книга*), количественные местоимения – вместо числительных» (Будагов Р.А. Введение в науку о языке. С. 300). Подобный взгляд на местоимение очень стар, он восходит к античной грамматической традиции, что отражено в самом слове *местоимение* (калька с латинского *proponen*).

Параллелизм местоимений и неместоименных слов очевиден. Однако если сравнивать эти два типа слов исключительно с формально-грамматическими позициями, то есть с точки зрения особенностей словоизменения, словообразования, синтаксической сочетаемости, легко прийти к выводу, что между местоимениями *кто, некто, ничто* и существительными, между *какой, каждый, другой* и прилагательными, *сколько, несколько* и числительными, *где, туда, здесь* и наречиями вообще нет принципиальных различий. Так, В.В. Виноградов считал, что собственно местоимениями являются лишь некоторые местоименные существительные. Он отмечал, что “если все местоимения собрать в один класс, то нарушится цельность системы частей речи: в классе место-

имений окажутся слова разной грамматической природы” (Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 1986. С. 268). На этом основании сторонники формально-грамматического подхода к изучению языка, как правило, распределяют местоимения по разным лексико-грамматическим разрядам, отказывая данной категории слов в статусе особой части речи.

Интересно, что, видя параллелизм местоимений с именами и наречиями, ученые неоднократно пытались найти в русском языке “местоименные глаголы”. На их роль в разное время предлагались глаголы *быть*, *существовать*, сочтения *что делать*, *что сделать*, и даже слово *того*.

Вполне естественно, что при рассмотрении местоимений с формально-грамматической точки зрения их значение воспринимается как максимально абстрактное, обобщенное. Двигаясь от слов с конкретным значением к все более абстрактной лексике, исследователь в конце концов “упирается” в местоимение: *береза* – *дерево* – *растение* – *предмет* – *что*.

Характеристика местоименного значения как “абстрактного” довольно часто встречается в работах о местоимении. По словам К.А. Левковской, “особенность местоимений... заключается в том, что они выражают понятия очень абстрактные” (Левковская К.А. Теория слова, принципы ее построения и аспекты изучения лексического материала. М., 1962. С. 185).

Максимально абстрактным считает значение местоимений и Н.Ю. Шведова: “Системой местоимений охватываются самые общие понятия, которые далее получают разнообразные, иерархически организованные именованья в лексике, формализуются в грамматике и морфемике, обозначаются словами связующими и квалифицирующими. ... По уровню абстракции эта система стоит над всеми другими классами слов: она осмысляет их устройство и их взаимные связи. Класс местоимений – это арсенал смысловых абстракций, заключенных в языке в целом; этим определяется роль местоимений в системе других классов слов” (Шведова Н.Ю. Местоимение и смысл. Класс русских местоимений и открываемые ими смысловые пространства. М., 1998. С. 8).

Н.Ю. Шведова говорит о соответствии местоимений не только именам и наречиям, но и многим другим единицам языка, например, “смысловое пространство местоимения *как...* открыто для самых разных языковых средств: оно заполняется наречиями, падежами и предложно-падежными формами, деепричастиями и очень часто – целым высказыванием или ответной репликой диалога” (Там же. С. 149). Н.Ю. Шведова исходит не из формы языковых единиц, а из их лексической и грамматической семантики, не разграничивая эти два вида значений, а объединяя их в понятие “смысла”. Как видим, “чисто смы-

словой” подход дает практически тот же результат, что и “чисто грамматический”.

Исследователи, считающие местоименное значение “максимально абстрактным”, так же, как и те, кто считает его “абсолютно конкретным”, склонны излишне расширять класс местоименных слов. В данном случае поводом для включения слова в число местоимений (или признания его подобным местоимению) становится абстрактность его значения. Так, Н.Ю. Шведова приводит список слов с “размытой”, “полуместоименной” семантикой: *народ, человек, люди, дело, вещь, сейчас, однажды, издавна*, а также дает перечень “дейктических”, то есть указательных глаголов: *быть, стать, делать, происходить* и др. Если проследовать по этому пути до конца, то в число местоимений придется включить всю философскую терминологию. Едва ли можно с этим согласиться.

В чем же суть местоименного значения? На наш взгляд, ближе всего к ответу на этот вопрос подошли ученые, показавшие, что значение местоимений – это лексическое значение особого рода: не номинативное, а указательное (Назовем некоторые работы: Потехина А.А. Из записок по русской грамматике. Т. 1, 2. М., 1958; Шахматов А.А. Синтаксис русского языка; Зарецкий А.И. О местоимении // Русский язык в школе. 1940. № 6; Вольф Е.М. Грамматика и семантика местоимений. М., 1974; Малицкий Л.Я. Номинативное и дейктическое значение // Языковые значения. Л., 1976; Шелякин М.А. Русские местоимения (значение, грамматические формы, употребление). Тарту, 1986).

А.А. Потехина противопоставил местоимения другим знаменательным словам на основании того, что “местоимения... обозначают... явления и восприятия не посредством признака, взятого из круга самих восприятий, а посредством отношений к говорящему, то есть не качественно, а указательно... Местоимение отмечает восприятия у к а з а н и е м, то есть о т н о с и т е л ь н о говорящего...” (Потехина А.А. Указ. соч.). Та же мысль в интерпретации М.А. Шелякина выглядит так: “Местоимения, в отличие от номинативных слов, не выражают качественной определенности однородных предметов, по которой они различаются и опознаются (ср. *топор, стол, стена, пол* и т.д.), а выделяют разнородные предметы по признаку соотносительности с говорящим лицом. Такой способ обозначения предметов называется способом указания – дейксисом, а сами знаки – дейктическими” (Шелякин М.А. Указ. соч.).

Указательность местоимения следует понимать не буквально (указательными в буквальном смысле являются только указательные местоимения), а в том смысле, что «местоимение не называет то или другое, а “намекает” на то или другое» (Зарецкий А.И. Указ. соч.). Указание заключается в “выделении объекта речи из группы подобных в момент речи о нем (с ориентацией на говорящего)” (Большова Ю.В. Спе-

цифика местоименного значения // *Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Ser. 1. Łódź, 1977. № 16*).

Проще говоря, местоимение указывает, что предмет речи входит в какое-то известное (иногда гипотетически известное) говорящему и слушателю множество предметов, а также сообщает, каким способом этот предмет можно обнаружить.

Так, к примеру, указательные местоимения предполагают, что “исходное множество” (Термин С.А. Крылова: Крылов С.А. Детерминация имени в русском языке: теоретические проблемы // Семиотика и информатика. М., 1984. Вып. 23) находится в общем “поле зрения” говорящего и слушателя, а определительные местоимения – что оно представляет собой известный всем класс предметов. Выделение (или “опознание”) искомого предмета может происходить по-разному. Например, указательные местоимения *этот, такой, тот* предполагают отождествление искомого предмета и “исходного множества”. Это отождествление у разных местоимений имеет разные основания.

Местоимение *этот* говорит о совпадении исходного множества и предмета речи в одной “области пространства”. Ср.: “Не понимаю, что со мной было и каким образом мог он меня к тому принудить... но – я выстрелил, и попал вот в *эту картину*. (Граф указывал пальцем на простреленную картину...)” (А.С. Пушкин).

Местоимение *такой* акцентирует внимание на признаках (свойствах): *такой* – “обладающий указанными свойствами”. Ср.: «Матушка склонила голову над книгой... *Книжка – в кирпичной обложке. Таких книжек у отца в кабинете полон шкаф, все они называются “Вестник Европы”*» (А.Н. Толстой).

Местоимение *тот* сообщает о том, что говорящему как бы “безразлично”, на каком основании произойдет отождествление предмета речи и исходного множества: ни отнесение к одной “области пространства”, ни равенство свойств здесь не являются обязательными для сравнения. Предполагается, что имеется лишь одно множество, с которым можно отождествлять предмет речи, и что слушатель способен это сделать: “Егорушка протер глаза. Посреди комнаты стояло действительно сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платке и соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память *тот одинокий, стройный тополь, который он видел днем на холме*” (А.П. Чехов).

Основное значение местоимения *этот* обычно толкуется в словах следующим образом: “Указывает на предмет, находящийся вблизи кого-, чего-л., ближайший в пространственном отношении по сравнению с другим, более отдаленным; *противоп.* тот (в 1 знач.)” (Словарь русского языка. В 4-х т. Т. IV. М., 1988).

Значение местоимения *тот*, наоборот, характеризуется как указание на отдаленный предмет. Данное различие в значениях, видимо,

можно объяснить тем, что местоимение *этот* устанавливает тождество предмета речи с исходным множеством на основе принадлежности к одной области пространства; это внешняя, возможно, непостоянная характеристика предмета. Убедиться в достоверности подобного отождествления можно в том случае, если имеется возможность чувственного восприятия предмета, то есть если он находится в непосредственной близости от говорящего и слушателя. Местоимение *тот* не требует подтверждения достоверности существования предмета речи, поэтому слушатель волен сам найти ему место в мире. Отметим, что значения “более удаленный”, “второй”, “не субъект действия” возникают у местоимения *тот* только при противопоставлении. Добавим, что достоверность существования предмета речи, обозначаемого с помощью местоимения *такой*, базируется на знании свойств вещей, поэтому данное местоимение вообще не предполагает пространственной локализации предмета речи. Признак “далеко – близко” для значения местоимения *такой* не является существенным.

Охарактеризовав в общих чертах особенности местоименного значения, остановимся на вопросе о положении местоимений в системе частей речи русского языка.

Еще в 1940 году А.И. Зарецкий отмечал, что “местоимения отличаются от местоимений не так, как отличаются существительные от прилагательных. (...) Если существительное (прилагательное и пр.) мы называем частью речи, то местоимение должно называться как-нибудь иначе, например, семантической категорией (...) Части речи различаются по тому, что они обозначают (а также по синтаксическим и морфологическим признакам), а семантические категории – по тому, как они обозначают (называя или указывая)” (Зарецкий А.И. Указ. соч.).

Среди знаменательных частей речи можно выделить три семантические категории слов: именные, глагольные и местоименные слова. Основанием для их разграничения могут служить различия в способе обозначения фактов действительности. Вспомним в связи с этим слова А.Ф. Лосева: “Законы и вообще способы функционирования языковых знаков обладают своей собственной природой, т.е. природой не прямого отражения действительности или мышления о ней, но своего собственного понимания и самой действительности, и самого мышления о ней, своей собственной их интерпретацией” (Лосев А.Ф. Специфика языкового знака в связи с пониманием языка как непосредственной действительности мысли // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1976. Т. 35. № 5).

Об отличии имени от глагола хорошо сказал К.С. Аксаков: “Мир как образ, как предмет выразился в слове особую формою и особым разрядом слов, или частью речи: Именем. ...Мир как сила, как действие... Глаголом” (Аксаков К.С. Опыт русской грамматики. Ч. I. Вып. I. М., 1860). П.В. Чесноков противопоставил имя и глагол на основе раз-

личий в способе отражения фактов действительности: “Имена отражают факты действительности в их наличии (бытии, существовании), глаголы отражают факты действительности в их проявлении” (Чесноков П.В. Грамматика русского языка в свете теории семантических форм мышления. Таганрог, 1992). Местоимение имеет черты как сходства с именем и глаголом, так и отличия от них.

Как и имя, местоимение интерпретирует факты окружающего мира как данность, как нечто статичное, схваченное в момент покоя, в то время как глагол предполагает процесс, движение, развитие. С глаголом местоимение объединяет возможность интерпретации фактов действительности через отношение к говорящему, к конкретной речевой ситуации, своего рода относительность. Имя же обозначает факты вне зависимости от говорящего. Наконец, от имени и глагола местоимение отличается и тем, что оно не может называть вещи, а может лишь указывать на них (но об этом уже было сказано достаточно). Заметим, что формулировки признаков, отличающих одну категорию от другой, еще нуждаются в уточнении.

В рамках каждой из названных категорий слов можно выделить частные лексико-грамматические разряды: среди глагольных слов – инфинитив, спрягаемый глагол (глагол в формах наклонений), причастие и деепричастие, среди имен – существительное, прилагательное, числительное, а также наречие; среди местоимений – местоименные существительное, прилагательное, числительное и наречие. Интересно, что многие лексико-грамматические разряды, относящиеся к разным категориям, имеют явный грамматический параллелизм (ср. причастие – имя прилагательное – местоименное прилагательное; деепричастие – наречие – местоименное наречие; инфинитив – имя существительное – местоименное существительное).

Чаще всего в науке и в практике преподавания лексико-грамматические разряды глагольных слов объединяются в одну часть речи, в то время как именные части речи выделяются порознь. Причиной тому – внутренняя грамматическая близость глагольных слов (их связь с двумя глагольными основами). Местоименные слова, как и глагольные, вполне можно рассматривать как единую часть речи. Основание для этого – специфика общекатегориального местоименного значения, заключенный в местоименных словах особый взгляд на мир, особый способ интерпретации фактов действительности.

*Язык рекламы***“Страсти по мехам” и “Кошмар на улице ВАЗов”***Т.Е. ПОСТНОВА*

В современном российском обществе реклама стала необходимым условием продвижения товара к покупателю, неотъемлемой частью повседневной жизни.

Как отмечает А.А. Залевская, восприятие и понимание рекламного текста читателем – это прежде всего процесс соотнесения извлекаемого из текста содержания с его социальным опытом, процесс переформулировки содержания текста в “терминах” своего опыта (Залевская А.А. Понимание текста: психолингвистический подход. Калинин, 1988).

Одним из важных компонентов печатной рекламы являются прецедентные тексты. Ю.Н. Караулов называет прецедентными тексты, “значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности” (Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. С. 216–237). Он предлагает следующую схему способов существования прецедентных текстов: первичный, вторичный или трансформированный через другой вид искусства, семиотический (т.е. способ, состоящий в том, что обращение к оригинальному тексту дается намеком, отсылкой, признаком).

Изучение структуры “чужого текста” в художественной литературе и “чужого текста” в массовом издании требует принципиально разного подхода. В настоящее время стала очевидной идея об априорной вторичности массовых текстов, сформулированная Ю.В. Рождественским: “Массовая информация – вторичный, беззапросный текст – предназначен для того, чтобы регулярно и оперативно информировать получателя о текущих событиях” (Рождественский Ю.В. Теория риторики. М., 1997. С. 592–593). Наличие признаков вторичности в текстах художественной литературы Ю.В. Рождественский объясняет изначальной ориентированностью авторов художественных текстов на оригинальность, способную проявляться, в частности, и в интертекстуальности. Массовый же текст, основанный на информации, предоставляет

мой, главным образом, информационными агентствами, пресс-службами, социологическими структурами, Интернетом и т.д., является результатом переработки первичных текстов и вторичен по своему статусу.

Нам представляется интересным анализ изменений содержательно-структурной исходной основы прецедентных текстов, использующихся в рекламе, в том числе и в печатной.

Материалом для наблюдений послужили 20 высокотиражных изданий, таких, как “7 Дней”, “За рулем”, “Товары и цены”, “Модус”, “Beauty”, “Marie Claire”, “Автомобили”, “Лиза”, “Домовой”, “Куль личности”, “Планета красота”, “Авторевю”, “Москва за рулем”, “Клаксон”, “Туризм и отдых”, “Мотор”, “Отдыхай!”, “Аргументы и факты”, “Автопанорама”, “Услуги и цены” за 1995–2000 годы.

Каким же видам деформации подвергаются прецедентные тексты в печатной рекламе?

По нашим наблюдениям, буквальные цитаты встречаются реже, чем квазичитации. Среди буквальных цитат выделяются следующие варианты в подаче прецедентного текста:

1) Воспроизведение самой цитаты вне вербального контекста, который создается изобразительным рядом. Например, название известной поэмы Н.А. Некрасова “Кому на Руси жить хорошо” используется при рекламе противоугонной системы (Авторевю. 1995. № 22) и сопровождается следующим видовым рядом: по зимней проселочной дороге рядом движутся современный автомобиль и лошадь в упряжке. Преимущество современной техники не вызывает сомнений.

А вот еще один интересный пример использования цитаты – из Гоголя: “Какой русский не любит быстрой езды?!” при рекламировании чип-тюнинга (“самого экономичного способа увеличения мощности Вашего автомобиля”) – “За рулем”. 1999. № 9; вызывает интерес необычный видовой ряд – скачки лошадей.

2) Цитата включена в речевой контекст рекламируемого товара в составе простого предложения: “Вор должен сидеть в тюрьме, а не в Вашей машине” (реклама автомобильных охранных систем. – “За рулем”. 1996. № 5); ср.: “Вор должен сидеть в тюрьме” (фраза из кинофильма “Место встречи изменить нельзя”) и в составе сложного предложения – цитата приспособлена для рекламирования данного объекта рекламы: “Большое видится на расстоянии, а детали на распечатке EPSON” (реклама принтеров. – “7 Дней”. 1999. № 12), ср.: “Большое видится на расстоянии” (С. Есенин. Письмо к женщине).

3) Номинативное предложение развивается до двусоставного предложения, без конкретизации товара в рекламе магазина “Русские самцветы”: “Остров сокровищ ждет вас!” (Пятое колесо. 1996. № 3), ср.: “Остров сокровищ” – название романа Р.Л. Стивенсона.

4) Известный интерес сложностью “обработки” прецедентного тек-

ста представляет цитация в предложении, осложненном деепричастным оборотом. Мысль продолжена, но рекламная конкретизация дана в изобразительном ряде: “Дама сдавала в багаж ... не забыв оставить при себе... новую пластиковую карту Банка Москвы” (реклама пластиковых карт. – “За рулем”. 1999. № 7); ср. исходную цитату из стихотворения С.Я. Маршака с видовым рядом: “Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку”, причем на рекламе изображены не только все вышеперечисленные предметы багажа и их владелица, но и рекламируемый товар – пластиковая карта.

Приведем еще один пример конкретизации: “Раздача слонов от SONY” (реклама аудио- и видеотехники фирмы SONY. – “7 Дней”. 1999. № 4) сопровождается изобразительным рядом: слоны, несущие магнитофоны; ср. исходный текст: “Материализация духов и раздача слонов” (И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок).

5. Не менее интересны усеченные цитации: “Всех прекрасней и белей...” (реклама телевизоров SAMSUNG. – “7 Дней”. 1999. № 5), ср.: “Я ль на свете всех милее, всех прекрасней и белее?” (А.С. Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях); “Ученье – свет!” (реклама гуманитарного университета Натальи Нестеровой. – “7 Дней”. 1997. № 9), ср.: “Ученье – свет, а неученье – тьма”; “Старый друг лучше...” (реклама стиральных машин “Ока”. – “Товары и цены” – 2000. № 22), ср.: “Старый друг лучше новых двух”.

Квазидитации среди прецедентных текстов в печатной рекламе встречаются значительно чаще (67,5 процента от общего количества реклам с прецедентными текстами).

По нашим наблюдениям, внешние трансформации прецедентных текстов в печатной рекламе очень разнообразны (все особенности их употребления невозможно охарактеризовать в одной статье). Однако чаще всего они выглядят так: ключевое слово цитаты заменяется иным, тематически связанным с рекламным текстом. При этом может изменяться как первое слово цитируемого текста, так и последний компонент. Приведем примеры: “Сентябрь уж наступил” (реклама шампуня. – “7 Дней”. 1997. № 9), ср.: “Октябрь уж наступил” (А.С. Пушкин. Осень); “Весенний поцелуй” (реклама программы отдыха в курортном отеле. – “7 Дней”. 2000. № 2), ср.: “Осенний поцелуй”, песня в исполнении А. Пугачевой; “Номер, который всегда с тобой” (реклама пейджеров и мобильных телефонов. – “7 Дней”. 1998. № 3), ср.: “Праздник, который всегда с тобой” (название повести Э. Хемингуэя).

А в следующих текстах изменяется последний компонент цитаты: “Еще раз про Бстадин” (реклама лекарства-антисептика. – “7 Дней”. 1999. № 1), ср.: “Еще раз про любовь” (название кинофильма по пьесе Э. Радзинского “104 страницы про любовь”); “С чего начинается женщина?” (реклама колготок Capris. – “7 Дней”. 1998. № 6), ср.: “С чего

начинается Родина?” (название песни из кинофильма “Щит и меч”); “Чисто английское качество” (реклама сигарет “Sovereign”. – “За рулем”. 1998. № 2), ср.: “Чисто английское убийство” (название кинофильма).

К редкому, но очень интересному виду квазицитации мы относим такие случаи деформации текста, при которых используется отрицание: “Красота не требует жертв” (реклама шампуня. – “7 Дней”. 1997. № 10), ср.: “Красота требует жертв”; “Все видеть, все слышать” (реклама автомагнитол. – “За рулем”. 1997. № 4), ср.: “Ничего не вижу, ничего не слышу...” (строки из песни). В последнем случае мы наблюдаем перестройку синтаксической конструкции.

В печатной рекламе встречаются деформации прецедентных текстов с изменением двух компонентов, например: “Скромное обаяние природы” (реклама косметики фирмы Green Mama”. – “Домовой”. 1999. № 11), ср.: “Скромное очарование буржуазии”; “Нам доступен этот мир!” (реклама Аэрофлота. – “За рулем”. 1996. № 12), ср.: “Как прекрасен этот мир!”. Некоторые цитации очень популярны и неоднократно варьируются, например, трансформации названия популярного кинофильма “Девушка моей мечты”: “Небо Вашей Мечты” (реклама ТРАНСАЭРО), “Кухни вашей мечты” (реклама кухонь фирмы “Корупа”), “Персики Вашей мечты!” (реклама фирмы-поставщика фруктов, соков, консервов и т.д.); “Страсти по мехам” (реклама мехов. – “7 Дней”. 1998. № 12), ср.: “Страсти по Матфею” (сочинение И. Баха); “И хорошее настроение не покинет больше VAX” (реклама пылесосов фирмы VAX. – “7 Дней”. 1997. № 2), ср.: “И хорошее настроение не покинет больше вас” (“Песенка о хорошем настроении” из кинофильма “Карнавальная ночь”); “Кошмар на улице ВАЗов” (реклама автосигнализаций. – “За рулем”. 1999. № 1); ср.: “Кошмар на улице Вязов” (название кинофильма); “Свое добро должно быть с кулаками!” (реклама автомобильных охранных систем. – “За рулем”. 1997. № 2), ср.: “Добро должно быть с кулаками”; “Притяжение звука” (реклама аудиотехники для автомобилей. – “За рулем”. 1999. № 11), ср.: “Притяжение Земли” (строки из популярной песни советской эпохи).

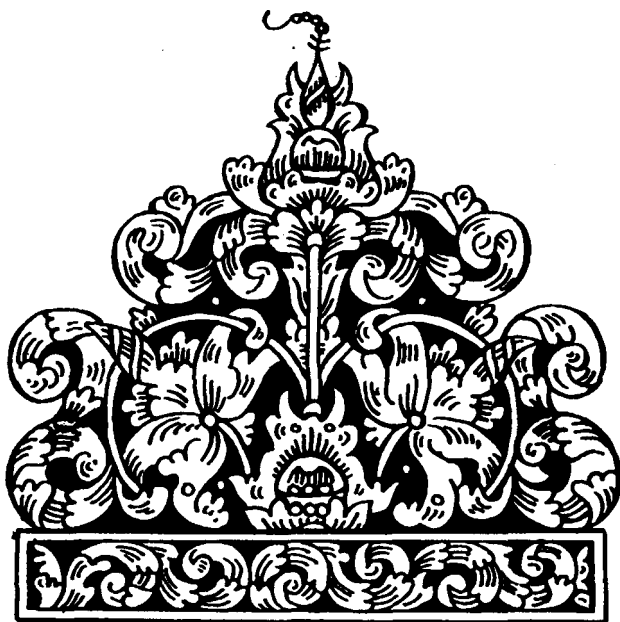
Исследователи отмечают, что готовность человека обогатить порождаемый им текст фрагментами из воспринятых ранее текстов наблюдается во всех видах речи. Умение использовать эти фрагменты, количество и жанровая отнесенность цитируемых текстов – важные показатели стилистических качеств рекламы.



В истории русской литературы имя Димитрия Ростовского связано в первую очередь с составленными им в конце XVII – начале XVIII века Четьями-Минейми, сборником житий святых на каждый день календарного года, который на протяжении двух столетий был самой любимой книгой для чтения у православного народа (и сейчас патриархия предприняла новое его переиздание). Сборник написан прекрасным литературным языком, а это тем более естественно, так как его составитель был также выдающимся поэтом и драматургом своего времени. Наиболее известны пьесы Димитрия Ростовского “На Успение пресвятой Богородицы” и “На рождество Христова”.

В 1999 году исполнилось 290 лет со дня кончины, а в 2001 году – 350 лет со дня рождения Димитрия Ростовского. В честь этих знаменательных дат мы публикуем небольшие отрывки из магистерской диссертации протоиерея А.М. Державина (1871–1963), посвященные творчеству православного писателя.





ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ

Юго-западная русская литература XVII века дала нашему народу немало замечательных, выдающихся произведений. Одним из таких произведений являются Четии-Минеи, составленные сначала скромным иеромонахом, а потом знаменитым Ростовским митрополитом Святителем Димитрием. Появившиеся в самом конце XVII и в начале XVIII века Четии-Минеи по степени распространения и силе влияния на мировоззрение и духовный склад православного русского народа далеко превосходили другие подобные им юго-западные издания и заняли между ними первое место. Тотчас же после своего появления они сделались любимым чтением русских православных людей, в XVIII и XIX веках выдержали значительное количество изданий, в начале XX века переведены были с церковнославянского на русский язык и до сих пор не утратили своего значения. Мало того, они остались незаменимым и единственным произведением подобного рода, других, настолько же содер-

жательных и любимых народом Четиих-Миней русская богословская наука доселе не создала. Чтобы написать Чети-Миней – этот огромный четырехтомный труд, – составителю их необходимо было иметь соответствующую нравственную и умственную подготовку. Без глубокой любви к святым, без душевного сродства с ними едва ли можно было составлению их жизнеописаний посвящать целых двадцать лет усердной, денно-нощной работы, как сделал Святитель Димитрий. С другой стороны, без достаточных знаний и умственного развития нельзя было и браться за такой важный, ответственный труд, особенно в то время, когда нужда в нем была осознана. Ввиду этого вопрос о том, какое Святитель Димитрий получил нравственное воспитание и умственное развитие, очень важен для нас.

Святитель Димитрий, в миру Даниил Саввич Туптало, родился в декабре 1651 года в местечке Макарово, находящемся, по словам самого Святителя, “в семи милях” от Киева. Родители его – сотник украинского войска Савва Григорьевич и жена его Мария Михайловна – были людьми глубоко религиозными. Благодетельная жизнь родителей, особенно же пример “набожной и добродетельной” матери, без сомнения, оказали благотворное влияние на душу будущего “списателя житий святых” и заронили в нее первые семена благочестия и любви к святым.

Святыни Киева, куда переселились родители Даниила в 1660 году и где прожил он почти безвыездно до 1675 года, еще более сроднили Святителя с подвижниками благочестия и, углубив полученные в родной семье впечатления, сделали привитые там влечения и навыки правилами и интересами всей будущей жизни. О любви Святителя Димитрия к Киеву свидетельствуют многие факты его жизни и многие страницы его великого двадцатилетнего труда.

Обучение Святителя Димитрия грамоте, начатое, по словам его биографов, в доме отца, продолжалось в Киево-Могилянской коллегии, куда Даниил отдан был в 1662 году, спустя два года после переселения в Киев. Киево-Могилянская коллегия, основанная в начале XVII столетия, получила такое название после реформы Петра Могилы, принявшего в свое заведование старую братскую школу в 1631 году. После реформы Коллегия имела шесть классов: три грамматических, два гуманитарных и один философский. Преподавание велось по схоластическому методу: у учеников развивалась, главным образом, способность формального мышления, и все усилия преподавателей направлялись на то, чтобы сделать из своих питомцев искусных борцов с пропагандистами унии и католичества. Господствующее положение в школе занимал язык латинский, как литературный язык всей Западной Европы: на нем в Коллегии и писали, и уроки преподавали. Что касается греческого языка, то он поставлен был значительно слабее латинского.

Святитель Димитрий поступил в Киево-Могилянскую коллегию в

1662 году, когда ректором ее был знаменитый автор “Науки албо способа о сложении казаний” Иоанникий Голятовский. Он только что обновил Коллегию после пожара 1658 года, уничтожившего почти совсем Братский монастырь и школьные здания. О годах учения Святителя Димитрия не сохранилось никаких документальных сведений; мы не знаем даже, сколько времени обучался он в школе. Большая часть исследователей, рассматривавших этот вопрос, полагают, что Святитель пробыл в Коллегии не более трех лет, так как в 1665 году, во время нашествия на Киев гетмана Дорошенко, Братская коллегия была будто бы разрушена и учение в ней прекратилось на целых четыре года. В недавнее время это мнение признано, однако, ошибочным. Исследователь истории юго-западной России Эйгорн утверждает, что в 1665 году никакого нашествия на Киев гетмана Дорошенко не было, а следовательно, и Коллегия в этом году разрушена быть не могла. Эйгорн полагает, что в 1665 и 1666 годах ученье в Киевской коллегии не прекращалось и, следовательно, Даниил Саввич Туптало мог закончить в ней свое образование.

Если справедливо, что Святитель Димитрий обучался в Киевской коллегии более трех лет, а по всей вероятности, окончил и полный курс ее, то, следовательно, Коллегия могла дать ему всё, что давала она своим воспитанникам в то время. Он мог вынести оттуда прекрасное знание латинского языка, которое давало ему возможность не только свободно читать любую латинскую книгу, но и писать по-латыни. Это неоспоримо доказывается и оставшимися после Святителя рукописями и письмами: в них славянская и малороссийская речь часто перемешивается с польской и латинской, причем чувствуется, что последнему автор владеет так же легко и свободно, как и своею родной. Знал Святитель и греческий язык. Об этом можно догадываться по тем же рукописям: в них иногда встречаются греческие слова и выдержки.

{...} В 1668 году, 9 июля, Мелетий Дзик [после 1662 года, когда И. Голятовский покинул Киев и ушел в Литву, заведовал всеми делами Коллегии] постригает Даниила в иноки. Что побудило последнего отречься от мира, мы не знаем. Но, несомненно, склонность к уединению и глубокая религиозность были природными чертами Святителя Димитрия, и они-то прежде всего увлекли его в монастырь. Влияние благочестивой матери, тревожные политические события и народные бедствия, переживаемые тогда Украиной, а также пример и советы уважаемых учителей могли только способствовать этому. Даниил сначала мирским человеком переселился в Киевский Кирилловский монастырь, где Мелетий Дзик был тогда игуменом, а потом и совсем отрекся от мира. В монастыре Димитрий прожил до весны 1675 года, следовательно, почти семь лет, и все это время, по словам писателя его жизни, поучался “смирению, послушанию и братолюбию... всякое монастырское и церковное послушание исполняя с прилежанием”.

Но кроме этих, чисто иноческих трудов, Святитель Димитрий не оставял в монастыре и научных занятий. По словам того же писателя, он “в келии... писалше и сочиняше повеленная от игумена и от других высших начальников; прилежаще к чтению книг душеполезных”. Последнее сообщение весьма важно; из него мы узнаём, что Святитель Димитрий первые годы иноческой жизни употребил на самообразование, на чтение книг и составление разных сочинений под руководством Мелетия Дзика и других “высших начальников”, может быть, того же Варлаама Ясинского и его помощников по Киевской коллегии. Можно предполагать, что Святитель Димитрий уже в Кирилловском монастыре положил начало тому богатому знакомству с латинской и южнославянской церковной и исторической литературой, о котором свидетельствуют его позднейшие писательские труды. Наставники и руководители Димитрия видели его способности и прилежание и спешили выдвинуть талантливого инока из среды монастырской братии. В 1669 году, 25 марта, т.е. менее, чем через год после принятия иночества, Димитрий в Каневе был посвящен в иеродиакона Киевским митрополитом Иосифом Тукальским, а в 1675-м, 23 мая, от Черниговского архиепископа Лазаря Барановича принял рукоположение в иеромонаха.

Лазарь Баранович не отпустил Димитрия обратно в Киев, а оставил его при себе и назначил проповедником. Димитрий жил в Чернигове более двух лет и, кроме проповедания в соборном храме и других церквах епархии, занимался трудом литературным. По настоянию Лазаря Барановича, человека весьма деятельного, побуждавшего к литературной работе и других, Димитрий составил здесь книгу “Руно орошенное” – сборник сказаний о чудесах Богоматери. В ней собраны сказания о чудесах с прибавлением к каждому бесед, нравоучений и “прикладов” (образцов, примеров. – *Е.Д.*). Беседы и нравоучения составлены самим Святителем Димитрием, а “приклады” собраны из разных источников, на что указывает и сам составитель.

Из Чернигова в июле 1677 года Святитель Димитрий ездил в Литву, и эта поездка была новым важным фактом в его духовном развитии. (...)

Святитель ехал в Литву ненадолго, но здесь его не захотели скоро отпустить, и он прожил в пределах Польского государства почти два года, состоя народным проповедником при Слуцком церковном братстве. (...)

Но одна устная проповедь не могла удовлетворить Святителя Димитрия. Он уже искусился в литературном труде и невольно чувствовал к нему влечение. Недаром впоследствии он писал из Ростова Федору Поликарпову: “Моему сану надлежит слово Божие проповедовать не только языком, но и пишущою рукою”, а, начиная “Розыск” против раскольников, другу своему, московскому иноку Феологу сообщал: “Понеже словеса из уст болей идут на ветер, нежели в сердце слушающих, яхся писать особую книжицу”. Может быть, те же чувства Святи-

тель переживал и теперь. Ему хотелось написать для православного народа “книжицу”, слова которой шли бы в самое сердце слушателей; он чувствовал в себе силы и способности к этому, но куда, на какой предмет направить их – еще не знал (...)

Святитель Димитрий, возвратившийся из Польши в феврале 1679 года, сначала занимал должность проповедника в Батурином Никольском монастыре, затем около полугода состоял игуменом Макасовской обители. Отсюда он снова переехал в Батурин и принял игуменство. Впрочем, эти довольно успешные продвижения по службе не занимали Святителя Димитрия. Он тяготился хлопотливой и ответственной должностью настоятеля монастыря и, вероятно, по собственному желанию, 26 октября 1683 года сложил с себя игуменство и возвратился к состоянию простого инока. Вскоре после этого, именно 18 ноября того же года, скончался архимандрит Киево-Печерской Лавры Иннокентий Гизель. На его место был избран игумен Никольского пустынского монастыря Варлаам Ясинский. Последний, как только переехал в Лавру, тотчас же возобновил свои хлопоты об издании Четиих-Миней и предложил Святителю Димитрию взять на себя труд составления их, для чего переселиться из Батурина в Лавру. 23 апреля 1684 года переселение состоялось и, по словам старого писателя жития Святителя Димитрия, “составило эпоху в его жизни”: оно было выражением принятого Димитрием решения взять на себя великое дело составления Четиих-Миней. К этому решению Святитель Димитрий пришел не без колебаний.

Через несколько дней после переселения, именно 6 мая 1684 года, состоялся под председательством Варлаама Ясинского собор старцев и лаврской братии, на котором составление житий “вручено” было Димитрию как особое “послушание” и вместе с тем он назначен был “казнодеем” Печерским.

Святитель Димитрий принялся за порученное ему дело “с великим тщанием”. В душе своей он решил посвятить ему все свои силы и, конечно, поэтому переселился в Лавру. Здесь было самое удобное место для работы. Кроме монастырской тишины и покоя, здесь находилась обильная книгами библиотека; здесь жил такой опытный и преданный делу руководитель, как Варлаам Ясинский; здесь, наконец, можно было не опасаться внешних бедствий и нападений врагов, так как Киев и Лавра охранялись московскими воеводами. Затворившись в отведенной ему келье, Святитель Димитрий в первое время отрывался от занятий только для посещения богослужения. В великой Печерской церкви прежде указывали тот уголок, где стоял смиренный “списатель житий святых”, отдаваясь тихой и усердной молитве.

Вскоре предмет работы захватил всё его внимание. Начатое из послушания, после долгих отказов, описание житий святых так увлекло Святителя Димитрия, что он, и отрываясь от работы, продолжал жить навеянными ею впечатлениями.

Всё происходило, когда Святитель Димитрий жил в монастыре Печерском. Это была, кажется, самая лучшая, самая плодотворная пора его работы, когда, ничем не волнуемый и не отвлекаемый, он всей душой отдавался своему делу и встречал со стороны окружающих одно только сочувствие и одобрение. Как видно из письма Святителя Димитрия к патриарху Иоакиму, он всё, что успевал написать, носил на просмотр Варлааму Ясинскому и с ним советовался во всех затруднениях. А затруднения были, и касались они, главным образом, тех источников, которыми приходилось пользоваться (...) Необходимо было ввиду этого достать такой сборник житий святых, по которому бы можно было проверять и исправлять полученные у иностранных агиографов сведения.

Таким сборником в Киеве считали Великие Чети-Минеи московского митрополита Макария, и поэтому получение их становится для киевских ученых самою первою и необходимейшею потребностью.

(...) Патриарх Иоаким исполнил просьбу киевлян и выслал на имя Варлаама Ясинского Чети-Минеи митрополита Макария в Киев. Дали патриарх вместе с этим какое-либо предписание относительно пользования книгами – неизвестно.

(...) Какой же список Великих Чети-Миней митрополита Макария был выслан в Киев патриархом и за какие месяцы? Украинские ученые, как мы видели, добывались Чети-Миней, хранившихся у патриарха “в великой Успенской церкви”. Там находился так называемый “Успенский” их список, оконченный митрополитом Макарием в 1552 году и представляющий редакцию более полную в сравнении с первым списком, написанным для новгородского Софийского собора. Этим именно списком и пользовался Святитель Димитрий. Подтверждается это свидетельством самого Святителя Димитрия в письме другу своему, иноку Феологу, написанном из Ростова; он говорит, что у него имеются Макарьевские Чети-Минеи за месяцы июнь, июль и август, “яже из соборной Московской патриаршей церкви взяты суть с роспискою. А взяли их печерские старцы, когда третью нашу книгу в Москву привезли”.

(...) Но и эти книги едва ли дали Святителю Димитрию полное удовлетворение. И он, и Варлаам Ясинский старались поставить дело составления житий святых самым серьезным образом. Для этого они разыскивали и собирали все лучшие пособия по агиологии, которые можно было тогда найти не только в Москве и на юго-западе, но и за границами России, в землях Европы. Поэтому, может быть, в это же время ими начаты хлопоты о высылке в Лавру знаменитого издания Болландистов “Acta Sanctorum”, которое уже тогда пользовалось известностью и авторитетом в ученом мире Западной Европы.

Составленная Святителем Димитрием первая книга житий святых еще в рукописи была прочитана не только Варлаамом Ясинским, но и

митрополитом Гедеоном и Лазарем Барановичем и “многими” другими “благоразумными властями”. Эти лица одобрили труд Святителя, нашли его благопотребным для церкви, и поэтому всем хотелось скорее увидеть его в печати.

Печатать Четии-Минеи должна была Лавра, и в прежнее время это не представляло никаких затруднений. Находясь под властью Константинопольского патриарха, Лавра могла печатать в своей типографии всё, что считала необходимым и полезным. Теперь, с подчинением Киевской митрополии Московскому патриарху, обстоятельства изменились.

Варлаам Ясинский попытался восстановить утерянные Лаврой привилегии: 18 января 1688 года он послал об этом челобитную в Москву. Там, хотя и решили удовлетворить это ходатайство, но с ответом не торопились.

Причиною этой медлительности, вероятно, были те сомнения в православии украинского духовенства, которые в это время возникли в Москве. Давно подозрительно смотревший на киевлян, Иоаким решил проверить их религиозные убеждения (...) К сожалению, эта патриаршая немилость прежде всего коснулась Святителя Димитрия и принятого им на себя труда.

Не объясняя причин, патриарх в начале марта 1688 года потребовал от Варлаама Ясинского возвращения в Москву высланных в Киев Четиих-Миней митрополита Макария. То же требование повторено было затем и митрополиту Гедеоу. В Киеве не возражали и поспешили исполнить приказание патриарха. Но так как часть присланных Четиих-Миней, именно – месяцы ддекабрь, январь и февраль, находились у Святителя Димитрия в Батурином монастыре, то приказание патриарха немедленно сообщено было и ему. Димитрий в это время едва ли еще и начинал проверять свои жития по этим книгам, они были ему поэтому крайне нужны, но воле патриарха противиться было нельзя, и Святитель Димитрий отправил книги в Москву. Вместе с книгами он послал патриарху письмо.

Из содержания письма видно, что Святитель Димитрий воспользовался этим первым своим сношением с патриархом для того, чтобы получить от него благословение на напечатание первой части Четиих-Миней. Без сомнения, эта просьба направлена была в Москву с согласия киевских властей, особенно Варлаама Ясинского, который ждал в это время ответа на свое ходатайство о возвращении Лавре привилегий. Но патриарх Иоаким, питая к киевлянам недоверие, не торопился удовлетворить просьбу Варлаама.

Между тем, пока шли эти сношения с Москвой, Варлаам Ясинский решил помимо патриарха осуществить древние привилегии Лавры и, напечатав в Лаврской типографии небольшую книжку “Венец Христов”, послал ее в Москву для подношения царевне Софье и В.В. Голи-

цыну. Вместе с книгой отправлено было письмо, в котором Варлаам просил не винить его за самовольное напечатание книги и ссылался на государеву грамоту, дававшую Лавре право на открытие типографии. Книга “Венец Христов” послана была в Москву в мае. Когда до июля-месяца не последовало никакого выговора и замечания, Варлаам Ясинский решил приступить к напечатанию и первой части Четиих-Миней. Для этого он вызвал Святителя Димитрия из Батурина в Киев. “1688 года июля второго, – заносит Святитель в свой второй Диарий, – почалися друковати жития святых, первая часть, три месяца септеври, октоврии, ноеврии”. Печатание шло очень медленно. До января 1689 года набран и отпечатан был только один месяц сентябрь. Это замедление вызвано было, может быть, теми предварительными статьями, которые приложены к первой книге и которые нужно было составить, а всего вероятнее, причиной его было обострившееся отношение киевлян к патриарху.

Святитель Димитрий, прошедший осень и начало зимы в Батурине, в январе 1689 года снова приехал в Киев и “начал”, как сам отмечает в Диарии, “с помощью Божию печатать жития святых за месяц октябрь”. В этот раз дело подвигалось вперед гораздо быстрее, и “12-го индикта”, как значится на выходном листе, первая часть Четиих-Миней за месяцы сентябрь, октябрь и ноябрь была окончена печатанием и вышла в свет. По-видимому, для Святителя Димитрия теперь должны были кончиться все тревоги и хлопоты, которые связаны были с этой книгой, но на самом деле они только еще начинались.

Вновь отпечатанную книгу решено было отправить в Москву правителям и патриарху. Зная, какие чувства питает патриарх к киевлянам, и желая предупредить его гнев за самовольное напечатание книги, Варлаам Ясинский отправил ее в Москву с нарочитым посольством, причем написал Иоакиму пространное извинительное письмо. Изложив, как и когда возникла в Киеве мысль об издании житий святых и как, наконец, она осуществилась благодаря трудолюбию и разуму Святителя Димитрия, Варлаам Ясинский в этом письме говорил, что он и братия Киево-Печерской Лавры три первые месяца житий святых, после тщательного рассмотрения и исправления по Минеям Макарьевским, напечатали, основываясь на благословении патриарха, некогда данным архимандриту Лавры Иннокентию.

Но ни это полное смирения послание, ни нарочитое посольство, поднесенное патриарху первую книгу Четиих-Миней, не умиливали Иоакима. Он не оценил того громадного труда, который положен был Святителем Димитрием на составление книги, и, воспользовавшись удобным случаем, решил сосчитать с непокорными ему киевскими учеными и сделать им строгий выговор за своеволие. На письмо Варлаама он ответил обширным и суровым посланием, в котором упомянул, что подчиненные всегда должны соблюдать строгое повиновение началь-

ствующим, и напомнил те условия, на которых высланы были из Москвы в Киев Макарьевские Четии-Минеи.

Из послания патриарха видно, что главная вина киевлян заключалась не в Четиих-Минях Святителя Димитрия и не в тех погрешностях, которые были усмотрены там патриархом. Не было большого преступления даже и в том, что Лавра решилась самостоятельно напечатать Четии-Минеи. Патриарх, как видно из его грамоты от 18 апреля 1688 года предоставил Лавре право издавать по своему разуму книги в типографии. Вся вина киевлян состояла в том, что они не дождались этого разрешения и поступили самовольно. Это-то своеволие, пренебрежение к патриаршей власти всего более и оскорбило Иоакима. Его суровое послание поразило, главным образом, Святителя Димитрия. Смиренный писатель житий святых не мог не сознавать, что поводом для грозных прещений [злых чувств] патриарха послужил все-таки он, его Четии-Минеи и те погрешности, которые там найдены были патриархом.

С Украины в Москву отправлялся гетман И. Мазепа; он ехал к благоволившим к нему В.В. Голицыну и царевне Софье. Духовные власти Киева воспользовались этим случаем и решили послать в Москву своих уполномоченных, которые должны были явиться к царям и патриарху и лично переговорить с последним о всех недоразумениях. Уполномоченными от Киева поехали Иннокентий Монастырский и Святитель Димитрий.

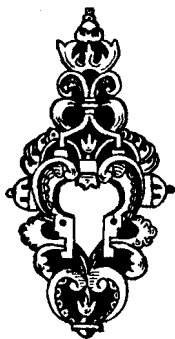
“Въехали мы в царствующий град Москву, – пишет Святитель Димитрий в своем Диарии, – августа 10-го, в день памяти св. мученика Лаврентия, в субботу, а 11-го, в день воскресный, были у ручки благочестивейшего царя Иоанна Алексеевича и благочестивейшей царевны Софьи Алексеевны; а благочестивейшего царя Петра Алексеевича не было дома: был негде в походе. В тот же день были мы у ручки у святейшего патриарха Иоакима”. Святитель не сообщает, как принял их патриарх. Но в этот раз прием у него носил, кажется, чисто официальный характер, и киевлянам не удалось поговорить о своих делах. Патриарху было не до них. Москва в то время переживала смутное, переходное время. Петр был не в походе, как пишет Святитель Димитрий, а в Троице-Сергиевой Лавре, куда он убежал, окончательно рассорившись с сестрой Софьей Алексеевной. В народе начинались волнения, всем предстояло решить вопрос, на чью сторону встать в споре сестры и брата. Через два дня после приезда украинцев к Троице уехал и патриарх. Принятые Софьей меры к примирению не привели ни к чему: Петр чувствовал под собою силу и требовал выдачи приверженцев царевны. Положение украинского посольства было крайне неловким: вызванное соправителями Софьи, оно не знало, как ему поступить. В таком неопределенном положении прошел почти месяц. Наконец, Мазепа увидел, что ему нечего надеяться на прежних благодетелей, и по-

ехал к Троице. Здесь приняли его с честью. Вместе с Мазепой прибыли и другие члены посольства. “Сентября в 10 день, – пишет Святитель Димитрий, – были мы с ясновельможным гетманом у ручки благочестивейшего царя Петра Алексеевича в монастыре Троицком, обители Сергия Радонежского чудотворца. В том же монастыре был и патриарх, коего посещали мы часто”.

Вот во время этих-то неоднократных посещений украинцы и переговаривали с патриархом о всех тех делах, которые волновали их и патриарха. Иннокентий Монастырский давал объяснения по вопросу о времени пресуществления Святых Даров, а Святитель Димитрий смиренно вел речь о своих погрешностях в Четиях-Минях. Замечательны результаты этих переговоров. В то время как Иннокентий, изъявивший готовность “стоять и умереть” за латинское мнение, от которого тогда отказались уже все киевляне, заслужил гнев и проклятие патриарха Святителя Димитрия Иоаким благословил продолжать писание житий святых и дал ему при прощании образ Пресвятой Богородицы в окладе. Чем же достиг Святитель Димитрий такого успеха? Без сомнения, своим смирением и готовностью исправить то, в чем сам он не был убежден твердо. Патриарх вполне удовлетворился и с миром отпустил Димитрия, преподав ему свое благословение. Правда, он не дал Святителю Макарьевских Четиих-Миней, но, быть может, это произошло оттого, что патриарх был у Троицы, а не в Москве, где хранились Четии-Миней. Украинцы недолго пробыли у Троицы; 13 сентября они снова представились царю Петру “на отпуске, перед отъездом”, а “сентября 22-го, в день воскресный, – пишет в Диарии Святитель Димитрий, – собираемся мы с Божиим благословением из царствующего града Москвы в путь, в дом свой”. “10-го октября, – заносит он далее, – приехал я домой с Божией помощью” (...).

Окончание следует

Публикация **Е.И. Державиной**



Псковский говор начала XIV века

Е.В. ГОРСКАЯ

В предлагаемой статье речь пойдет об особенностях псковского говора начала XIV века, получивших отражение в церковнославянских богослужебных книгах, переписанных во Пскове. Для анализа мы привлекли четыре пергаменных кодекса: *Пролог*, сентябрь–февраль, 1-я (Краткая) редакция (1313 г.), *Пролог*, март–август, 1-я (Краткая) редакция (начало XIV в.), *Шестоднев* служебный (около 1312 г.), *Паремейник* (1312–1313 гг.).

Изучение языка Пскова началось еще в XIX веке. А.И. Соболевский посвятил вторую часть “Очерков из истории русского языка” псковскому говору. Впервые из псковских рукописей был извлечен диалектный материал. Ученый восстановил ряд языковых особенностей псковского говора, проанализировал 9 рукописей, но не коснулся названных памятников. Н.М. Каринский в книге “Язык Пскова и его области в XV веке” исследовал язык псковских рукописей периода второго южнославянского влияния, привлекая также более ранние тексты, такие, как Паремейник 1271 г. и Паремейник 1312–1313 гг.: причем из последнего проанализировал лишь выходную запись.

Известно, что в создании рассматриваемых рукописей принимали участие среди прочих священник Андрей Микулинский и его сын Козьма Попович. Есть предположение, что при церкви, в которой служил Андрей, “поп Микулинский”, существовал скрипторий. Именно в скрипториях обучали правилам письма. Но даже при максимально тщательной перписке текста писцы, будучи профессионалами, не могли не отразить особенности языка, носителями которого они являлись.

В анализируемых рукописях отражается на письме явление, свойст-

венное северо-западным говорам древнерусского языка, а именно возникновение сочетаний *оро, оло, ере* в соответствии с исконными *ѡр, ѡл, ѡр* в положении между согласными. Такие формы есть и в современных, преимущественно северных, говорах русского языка: *молонья, верех*. Как отмечают исследователи, “в памятниках письменности после эпохи падения редуцированных это явление отражается не только в достаточно редких написаниях *оро, оло, ере*, но и в более распространенных написаниях *ѡръ, ѡлъ, ѡрь*, или *орѡ, ѡро, олѡ, ѡло, ерь, ѡре*” (Иванов В.В., Иорданиди С.И. и др. Древнерусская грамматика XII–XIII вв. М., 1995). Подобные примеры встречаются в данных кодексах как в конце строки при переносе, так и вне этого условия, например: “пѣлъкъ, бесмѣрѣнтъ, оутѣрьжающихся”; “стѣлъ/пинкъ, дѣлъ/жнии, дѣлъгомоу, сквѣреномоу”; “мѣлъчанию, дѣръзновениюмъ”; “гѣръдость, свѣрьшитѣля, вѣръхѣвнеи, оумѣретвися”.

У писцов довольно часто встречается цоканье – показательная черта псковских памятников. В рукописях это явление отражается в смешении букв *ц* и *ч*. Например, *ц* в соответствии с *ч*: по числоу, велицасмѣ, пороуцѣти, цимѣ”; “концины, концину, оуницѣжица”; “венцаша”; *ч* в – *ц*: “ловѣча, троичю, наричаемаго”; “лествичю, ходатаичю”; “наричаюмѣ, на оуличахѣ, чѣрноризчѣ, сиче, проричають, скопчѣмѣ, коупечѣ, третичю”; “наричаю, ничѣ, чѣрнчѣмѣ, наричаешѣ ся”; “наричаюте, проричахѣ”.

Данный материал свидетельствует о неразличении в живом языке писцов фонем (*ц*) и (*ч*). При написании букв *ц* и *ч* писцы должны были прибегать к специальным правилам. Такие правила определенно существовали, только, исходя из этого, можно объяснить правильное употребление букв *ц* и *ч* в большинстве случаев. Реконструкция подобных правил, соотносящих различия в написании с различиями в разговорном произношении, предложена в работах В.М. Живова (Живов В.М. Правила и произношения в русском церковнославянском правописании XI–XIII в. // Russian Linguistics. 1984. № 8; Живов В.М. Еще раз о правописании *ц* и *ч* в древних новгородских рукописях. Там же. 1986. № 10).

Как известно, в псковских рукописях широко представлено смешение букв *с* и *з* с *ш* и *ж*. Это явление отмечено в работах А.И. Соболевского, Н.М. Каринского, А.А. Шахматова, Т.Н. Кандауровой; *ж*–*з* – “зювадация, постыжается, презе, оузасеся, недвижимоу, зизни”; *ш*–*с* – “свобожьсѣмоу, зачесѣси, насѣму, присѣдѣ, прѣсени, оутѣсениѣмѣ, шилою”.

Такое написание можно объяснить отражением характерной черты псковского диалекта: совпадение звуков [с'] и [з'] с [ш'] и [ж']. Как отмечает А.А. Зализняк, в древнепсковском диалекте произошло совпадение *с'* (с') и *з'* (з') соответственно с *ѣ* (ш') и *ѣ* (ж'). Возникшие при этом единые фонемы можно обозначить как *с, з*, в кириллице – *с, з*. Это называется шоканье (или шепелявенье): *с'ила, с'есть, 'шесть, з'има*,

з'алоба, 'жалоба' (Зализняк. А.А. Древненовгородский диалект. М., 1995).

Происхождение псковского шепелявения, представлявшего собой "неразличение свистящих и шипящих", обычно связывают с воздействием языка (или языков), фонетическая система которых включает только свистящие согласные, – финских и балтийских (Глускина С.М. Морфонологические наблюдения над звуком *sh* в псковских говорах // Псковские говоры. I. Псков, 1962; Кузнецова А.М. Разновидности способа образования согласных в русских говорах // Экспериментально-фонетические исследования в области русской диалектологии. М., 1977).

Известно, что в книжных текстах звуковое сочетание, возникшее из праславянских сочетаний **zdj*, **zgj* передовалось буквами *жд*. Писцы или сохраняли это написание, или заменяли его. Новгородские и псковские рукописи имеют в таких случаях буквенное сочетание *жг*: *дѣжгь*, *дожгь*; галицко-волинские – буквы *жч*: *вѣжчелеша*. Некоторые исследователи видят в этом написании чисто орфографические варианты, обозначавшие одно и то же звуковое сочетание (Геровский М.И. Древнерусские написания *жч*, *жг* и *г* перед передними гласными. Вопросы языкознания. 1959. № 4). А.И. Соболевский рассматривал написание *жг* как отражение живого произношения новгородских и псковских писцов. По мнению А.А. Зализняка, написание *жг* также имеет фонетическую мотивацию, поскольку сочетания **zdj*, **zgj* дали в древнепсковском диалекте [ʒgʲ].

Как правило, в подобных случаях в рассматриваемых рукописях пишется *жг*: *пригвожгаемъ*, *пригвожгаема*; *дѣжгь*, *бездѣжгию*, *дѣжгевни*, *дѣжгеви*, *пригвожгень*; *дѣжгь*, *дѣжгить*; *пригвожгень*, *дѣжгя*; *дожгь*, *пригвожгени*.

Итак, из характерных особенностей псковского говора XIV века, отразившихся в рассматриваемых рукописях, можно отметить: цоканье, шоканье, написание *жг* (по всей вероятности, отражавшее живое произношение) в соответствии со звуковой единицей, получившейся из праславянских сочетаний **zdj*, **zgj*.



Любослов о русском языке

Ю.В. ХАРИТОНОВА

Писатели, деятели культуры и науки, политики, а также многие другие образованные люди XVIII века пытались внести свою лепту в развитие русского литературного языка. Русский литературный язык в 70–80-е годы XVIII века не имел строго определенной программы и стратегии развития, так как теория трех стилей к этому времени потеряла свое главенство, а никакой другой новой теории предложено не было. Некоторые взгляды на дальнейшее развитие русского языка высказывали в литературных произведениях многие писатели, которые заботу о языке считали своим общественным долгом. Проблемы функционирования заимствований и церковнославянизмов, приказного языка и стиля светских салонов, борьба за чистоту русского языка да и за “простой слог” вообще становились главными в литературном языке того времени. Все это отразилось, как в зеркале, в журнале “Собеседник любителей российского слова, содержащий разные сочинения в стихах и в прозе российских писателей” (1783–1784), который стал важным свидетелем в понимании процесса становления русского литературного языка XVIII века. Отдельно хотелось бы отметить языковую полемику, возникшую вокруг фигуры “Любослова” (этим именем были подписаны некоторые статьи, автор которых выступал как “беспристрастный любитель красоты российского слова”).

Личность Любослова вызывает споры до сих пор и остается неяс-

ным, кто же скрывался под этим именем и был автором XIII статьи во второй части и XV – в седьмой “Собеседника...” Не удалось выяснить и имена многих писателей, принимавших участие в работе “Собеседника...” и вступавших в споры с Любословом. Ни письма, ни записки того времени, исследованные учеными, не привели к какому-либо реальному результату.

В своей первой статье (Собеседник... СПб., 1783. Ч. II) Любослов проанализировал большую часть сочинений, напечатанных в начале журнала, и выявил массу грамматических ошибок. На его выступление ответил один из авторов, подвергнутых критике (предположительно Екатерина II) и указал Любослову на то, что он, не обращая внимания на содержание статей, исправляет лишь мелкие ошибки, которые не влияют на восприятие основной идеи произведения, так как “честные правила, здравый рассудок и приятная шутка предпочтительны педантству”. Педант. Вот какого “прозвания” удостоился Любослов, всего лишь строго следуя букве грамматического закона.

И вслед за Екатериной (?) многие писатели стали присылать свои “ответы г. Любослову”: Фонвизин, Державин и Капнист. Некоторые же авторы не преминули упомянуть в своих статьях его усиленное увлечение “маловажными погрешностями”, а кое-кто, прочитав обращение к читателю, объявил, что “через неумоющих писать разумею я не тех, кои литер ставить не знают, а тех прескучных Любословов, кои слова без вещей писать любят...”. В общем, всякий пытался “уколоть” его на свой манер.

Любослов искренне полагал, что “беспристрастный любитель красоты русского слова” согласится с ним: писать надо, соблюдая правила русского языка. И уже в конце первой статьи, предвидя нарекания в свой адрес, он отмечал, что данные поправки не “мечта тщеславия – нет – они основаны на правилах, приобретенных тщательным наблюдением и проницательным исследованием преобразителя русского языка”. В целом, большинство ошибок были столь незначительны, что любой другой читатель не обратил бы на них внимания. Например, в стихотворении Державина Любослов указывал, что во фразе “*Ты пишешь в сказках поучений. Писать* принимает падеж винительный, а не родительный”, – и предлагает свой вариант. – “*Ты пишешь в сказках мысль учений*”. Подобная правка встречается чаще остальных, видимо, у авторов многих статей явно были проблемы с употреблением падежей. Грамматические ошибки, которые выявлял Любослов, были связаны не только с падежами, но и вообще с неправильным употреблением слова, с построением предложения. Он также отмечал ряд стилистических ошибок, и выявлял некоторые речевые.

Хотя в случае с Державиным Любослов и заметил: “Беспристрастный любитель мыслей и слов не может не остановить внимание при маловажных сих ошибках. Впрочем, соблюдая глубокое почтение к пре-

красным сочинениям сего замечательного стихотворца". Сей "замечательный стихотворец" все равно остался крайне недоволен и в ответ написал, что его критик "...не нашел ничего достойного... кроме столь маловажных погрешностей, что самый знающий внимает важнейшим своего сочинения предметам...". Подобная реакция была характерной для большинства писателей. Возможно, свою роль сыграла сложившаяся языковая ситуация: писатели активно осваивали разговорную стилистику, что отразилось и на языке "Собеседника...".

Элементы разговорной речи часто встречаются и в высоком стиле, так как именно во второй половине XVIII века начался процесс становления нового русского литературного языка, опирающегося именно на разговорную речь. Поэтому большинство всех тех стилистических и речевых ошибок, которые находил Любослов, были связаны с этим явлением. Но даже если это было не так, и писатели, действительно, совершали ошибки, они не спешили оправдываться. Следуя традиции классицизма, а затем и Просвещения, главенство отдавали содержанию, а не форме. Идеи, которые высказывались в произведении, стояли выше изложения, так как язык служил средством передачи мыслей автора. Эстетическая же сторона его для большинства приобрела значение, лишь когда это непосредственно было связано с общественными проблемами (например, проблема языковых заимствований). Ошибки в писательской среде считались лишь небольшими погрешностями, которые никак не влияют на общий смысл. Екатерина II в "Былях и небылицах" отвечала по поводу критики в свой адрес: "Скучны только грамматические критики на *и*, на *ы*, на *я*, на *е*, на *ой*, наипаче нам безграматным людям... А грамматикальные поправки я не читал, и отнюдь ими не исправлен. Надеяться можно, что наши грешные падежи никому вреда не нанесут" (Екатерина II. Сочинения. М., 1990).

Содержание произведения для Любослова имело также огромное значение. Но ему хотелось показать "галломанам" и "любителям всего иностранного" красоту и богатство русского языка (ведь именно такую цель ставили перед собой издатели и писатели, выступавшие в "Собеседнике..."), точно и строго следуя его правилам.

Вторая статья Любослова была посвящена общим проблемам языка. Она состояла из "Письма" и "Начертания о российских сочинениях и российском языке". "Начертание" стало своеобразным манифестом, отражающим его языковые воззрения. В начале статьи Любослов формулирует свои принципы на основе практических советов, данных им ранее: "*Первое*, чтобы все периоды основаны были на грамматических правилах для ясного вразумления; *второе*, чтобы не потерять достоинства описуемого вещества; *третье*, чтобы не нарушать свойств языка своего". Также он рассуждал о том, как надо писать, и отмечал, что "вообще нужно прилагать старание как о словах, так и о мыслях; но о последних больше, чем о первых. Ибо сколь тень хуже тела...".

Как и многие другие авторы, он говорил о вреде одних лишь только красивых, витиеватых слов, в которых смысла никакого не заложено: “Одни ж звенящие и красивые слова, не заключающие в себе хороших мыслей, возбуждают пышностью своею внимание только малых душ... так многие, оставя умственные предметы, стремятся к чувственным и воображение ласкающим теням”. При этом некоторые участники “Собеседника...” критиковали его именно за эту погрешность (“через неумеющих писать разумею я... тех прескучных Любословов, кои слова без вещей писать любят”).

В основной же части статьи говорится о преимуществе русского языка перед иностранными, о том, что русские писатели при написании своих сочинений должны, прежде всего, ориентироваться на свой природный язык, который достаточно богат и красив, а если сочинителям не удастся должным образом выразить свои мысли на русском языке, то дело здесь не в “скудости” языка, а в незнании его людьми, так как каждый должен понимать, что “довольство российского слова сравнить должно с имением пребогатого человека, получившего великое сокровище по наследству и присовокулившего много собою”. И, чтобы доказать, что “русский язык... ни одному европейскому достоинствам не уступает, но и многим превосходит”, Любослов утверждал, что “славенский язык” (а, по его мнению, именно от него и от древнегреческого произошел русский) такой же древний, как и латинский. (Несмотря на то, что Любослов и упоминает о “древнем славенском” языке, все же, как и его современники, не различает праславянский и старославянский языки.)

Свою теорию Любослов строил на доказательстве четырех положений. Во-первых, если два языка имеют большое число сходных “коренных слов”, то значит “они оба произошли из одного источника; но долгою времени и многими народов переменами различились: следовательно оба почти одной древности”. Реализуя данное утверждение на практике, он рассматривал слова из русского и латинского языков, близкие по значению, выделяя их графическое сходство, например, *agnus* – *агнец*, *culeus* – *куль*, *domus* – *дом*, *gleba* – *глыба*, *ignus* – *огнь*, *mus* – *мышь*, *palus* – *палка*. Далее доказывал на основе этого сопоставления, что, так как эти слова “должны были начаться купно с началом славенского и латинского народа”, язык “славенский” и латинский “почти одной древности”.

Во-вторых, “еже ли сходствующие коренные слова в одном языке имеют некоторое знаменование, с натурою вещей знаменуемых сходное, чего в другом не находится; и еже ли от первого есть больше сложных и производных: по сему будут они в первом прямо коренные, а в другом ближе к производным”. На основе этого положения он делает вывод, что славянский язык древнее латинского, так как многие слова, например, *corbis* – *короб*; *costa* – *кость*, *ребро*; *meta* – *мета*, “имеют

в славенском с натурою сходное знаменование, чего нет в латинском, и больше славенских производных, нежели латинский имеет”.

В-третьих, если в одном языке “коренные слова” имеют “по окончаниям и по многим слогам подобие производных, и корень в другом слышится, то весьма вероятно, что оные от сего происходят”. Используя это утверждение, Любослов доказывал, что некоторые латинские слова произошли от славенских: “donec (донеле же) из *до* и *неле*; *folidus* (твердый) из *со* и *литой*, *fuadeo* (советую) из *со* и *вет*”.

По четвертому положению он приводил пример слов, которые в латинском имеют лишь “умалительные формы”, а полные – отсутствуют: *fufiula*, *graculus*, *nebula*, *oculus*; в славянском же языке существуют и полные формы этих слов. А если так, то “славянского языка древность не токмо равна древности латинского, но для показанных явных признаков едва ли оную не превышает. В рассуждении сего начало славянского языка далее двух тысяч лет простирается”.

Подобная концепция, которая на первый взгляд может показаться не только необычной, но и несколько натянутой, как ни странно, приводит нас к языковой программе классицизма.

В самом деле, именно в эпоху классицизма ученые начинают противопоставлять богатство древних языков и бедность новых. Русские ученые переняли это представление у французских теоретиков, при этом к древним языкам они также причисляли церковнославянский, доказывая важность того великого наследия, которое он и латинский получили от греческого языка. Соответственно русский литературный язык (“славенороссийский”), как преемник церковнославянского, унаследовавший его изобилие и богатство, становится в один ряд с языками классическими и противопоставляется новым бедным языкам, в частности, французскому. Это представление о древности русского языка было проанализировано В.К. Тредиаковским и М.В. Ломоносовым, которые рассматривали церковнославянский и русский как по природе единые языки и, причисляя русский литературный язык к “древним”, приписывали ему все то изобилие, которое свойственно древним языкам. Подобная схема, согласно которой словесное изобилие перешло от греческого к церковнославянскому, а от церковнославянского к русскому литературному языку, была широко известна науке в XVIII веке. Поэтому ничего нет удивительного в том, что в статье Любослова выдвинута теория о богатстве русского языка, которое не уступает ни в чем латинскому, ибо, так же как и латинский, русский имеет отношение к греческому языку.

Но откуда тогда возникла теория о том, что “славенский” язык (даже если мы и будем иметь в виду праславянский язык) древнее латинского? Ведь тот же Ломоносов, хотя и писал о древности российского народа и российского языка, говорил, что во времена царствования латинского языка, “славянский” не достиг еще пика своего развития. Лю-

бослов, как человек умный и образованный, хорошо знал труды Ломоносова, он явно ориентировался на грамматику великого ученого, когда “выправлял” падежи в первой статье (ведь именно о Ломоносове он говорил в конце статьи, объясняя, что правки делает, основываясь на правилах, “приобретенных тщательным наблюдением и проницательным исследованием преобразителя российского слова”). Как ни странно, но, возможно, именно одна из работ Ломоносова навела Любослова на мысль о столь великой древности славянского языка.

В рассуждениях своих Любослов писал, доказывая иностранцам и своим соотечественникам, увлеченным иностранными языками, что языку “славенскому” более двух тысяч лет и что он древнее латинского. Ломоносов в «Замечаниях на диссертацию Г.-Ф. Миллера “Происхождение имени и народа российского”» доказывал иностранцу, что народ российский имеет глубокие исторические корни (произошел от народа роксоланы), поэтому и язык “славенский” должен был распространиться на огромной территории, а для этого нужно было время, по сему язык “сам собою стоит уже от самых древних времен, и многочисленные оные славенские народы говорили славенским языком еще прежде рождения Христова” (Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. М.-Л., 1952. Т. VI). Любослов же решил пойти дальше своего учителя и выдвинул утверждение, что не просто “славенский” язык существовал еще до рождения Христова, а был древнее латинского и так активно функционировал, что многие слова латинские взяты были именно из него. Возможно, причиной столь смелого заявления является сложившаяся общественная ситуация.

Любослов вслед за Ломоносовым критиковал отношение современного общества к русскому языку и то раболепное преклонение перед французским языком, которое вело к утрате веры в свой народ, в свою страну, к потере сплоченности, а значит силы государства. Обстоятельства, в которые попал Ломоносов, доказывая Миллеру и иностранцам вообще, что русский народ так же может гордиться древностью своего происхождения и своего языка, повторились. Но, как это часто бывает, на новом витке развития ситуация усугубилась, так как Любослову, в большей мере, пришлось доказывать свою правоту огромному числу собственных сограждан, считавших русский язык не достойным языка французского и часто пренебрегавших общением на родном языке. Вся теория Любослова была направлена лишь на то, чтобы пробудить интерес у россиян к их языку и доказать необходимость использования всех богатств именно русского языка. Поэтому данная теория может считаться более патриотической, нежели научной.

Вообще Ломоносов, как никто другой, оказал влияние на языковые воззрения Любослова. И дело не только в схожей ситуации, но и в гениальности великого ученого, который столь точно и просто сумел сформулировать общие идеи о наболевших проблемах. Например, в

своей статье Любослов осуждал тех людей, которые считают, что на русском языке невозможно выразить многих мыслей: "...некоторые неосновательно жалуются на скудость российского языка. Никакого знания не должно рассуждать и мерить по своим силам; но надлежит сперва о нем быть совершенну и после о том смело разговаривать и полагать пределы". Ломоносов же в "Российской грамматике" писал: "И ежели чего точно изобразить не можем, не языку нашему, но недовольному своему в нем искусству приписывать долженствует" (Ломоносов. Там же. Т. VII). Также в своей "Российской грамматике" Ломоносов отмечал: "Повелитель многих языков, язык российский, не токмо обширностию мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе" (Там же). Любослов же в "Собеседнике..." говорил, что "российский язык не токмо ни единому европейскому достоинствами не уступает, но и многие превосходит, подобляясь и равняясь с древними изящными греческим и латинским; в том можно ... засвидетельствовать ясными доводами и многими примерами".

Таким образом, основные языковые принципы Любослова, изложенные в статьях "Собеседника...", сводятся не только к утверждению, что писать надо согласно правилам русского языка, но и к стремлению очистить родной язык от французских и иных "паразитов", в которых совершенно нет необходимости, ибо русский язык наследует от греческого изящество, изобилие и богатство, имеет огромные возможности для выражения любых идей, является опорой для русского самосознания, которое может пошатнуться, так как вера в превосходство другого языка рождает веру в превосходство другого народа.

200
ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
В.И.ДАЛЯ



В.И. Даль-сказочник

И.А. АУССЕМ

Творчество В.И. Даля-сказочника тесно связано с другими сторонами его филологической деятельности. В первую очередь, как в записанных им, так и в сочиненных сказках, чувствуется лингвист-лексикограф. Но Даля интересовали не только своеобразная словесная ткань народной сказки, но и особенности синтаксиса народной речи. К тому же, во всех произведениях, вышедших из-под пера Даля, ощутим тонкий и наблюдательный этнограф. Не только в произведениях, связанных с “натуральной школой”, но и в сказках, написанных задолго до ее возникновения, проявляется интерес к народному быту, традициям, своеобразию человеческих отношений. И через язык, и через быт Даль старался понять и отразить особенности русской национальной ментальности. И, конечно же, Даль считал, что в полной мере склад народного мышления проявляется в языке. Отсюда пристальное внимание писателя не столько к сюжету записанных сказок, сколько ко всем особенностям их речевого строя.

Свою филологическую деятельность Даль начал со сбора материалов для словаря (еще в ту пору, когда служил по различным ведомствам), попутно он записывал пословицы и поговорки, а также сказки. Но, как писал сам Даль позже, “не сказки сами по себе” были ему важны, “а русское слово, которое у нас в таком загоне, что ему нельзя было показаться в люди без особого предлога и повода, – и сказка служила ему предлогом” (Даль В.И. Полтора слова о нынешнем русском языке // Москвитянин. 1842. № 20. С. 549).

Впервые сказки, собранные Далем, были выпущены отдельным изданием в 1832 году. Книга называлась “Русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приуроченные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый”. Книга была издана в Санкт-Петербурге, но весь тираж был тут же изъят по распоряжению III отделения, так как власти усмотрели в сказках сатирическое начало и отражение тяжелого положения низших сословий.

Своеобразие выпущенных Далем сказок проглядывает уже в названии: писатель подверг их некоторой литературной обработке и по возможности расцвел собранными им же пословицами и поговорками. Подобный подход вполне понятен, так как принципы строгой научной записи еще не были выработаны фольклористами. Даль же считал, что вкрапление поговорок, пословиц, подлинно народных выражений, помеченных им, поможет выявить своеобразие истинно народного мышления. При этом он старался придать языку записанной сказки достоверный характер, сохранив лексику и синтаксис народной речи.

Вместе с тем, Даль усилил (а иногда и сообщил) народной сказке оттенок социальной иронии, это способствовало более явному отражению социального положения народа, что в совокупности с достоверной передачей народной речи и насторожило власть. И до читающей публики это издание практически не дошло.

Здесь Даль впервые выступил под псевдонимом, которым потом часто будет пользоваться. Один из сохранившихся экземпляров сборника он подарил Пушкину.

Даль попытался выпустить свои сказки спустя год после известного “сказочного состязания” Пушкина и Жуковского. Оба поэта, проводившие лето в Царском Селе, где Пушкин с молодой женой сняли дачу, на спор решили создать по литературной сказке с выраженным национальным колоритом. Жуковским тогда были написаны “Сказка о спящей царевне”, “Сказка о царе Берендее...”, “Война мышей и лягушек”. Своим произведением Жуковский постарался придать дух народной волшебной сказки.

В порядке творческого состязания Пушкиным была написана “Сказка о царе Салтане”. Жуковский в качестве сюжетной основы произведения взял собственный прозаический перевод сказки “Шиповничек”

из сборника братьев Гримм, а также использовал французскую прозаическую сказку на тот же сюжет “Красавица, спящая в лесу” Шарля Перро. Пушкин для своей сказки воспользовался собственными записями, сделанными в Михайловском в 1824 году. Он наиболее ярко и достоверно воссоздал всю поэзию мира русской сказки, не случайно Жуковский признал своего младшего собрата победителем в этом споре.

И Пушкин и Жуковский создали по литературной сказке, жанр которой особенно расцвел в эпоху романтизма. И у самого состязания были, конечно, романтические корни.

В литературной сказке романтической поры воспроизводится особый, подлинно сказочный мир, которому придаются национальные черты (вопрос о национальном был чрезвычайно актуальным в литературе романтизма). Характерно, что и сказка Пушкина, и сказка Жуковского были стихотворными.

Даль пошел по совершенно иному пути (кстати, для него было немыслимо использование сюжета из иноязычного источника). Обрабатывая записанные сказки, он подчеркивает специфику народной речи и насыщает свои произведения деталями национального быта.

Пушкин оценил своеобразный опыт Даля и настаивал на том, чтобы писатель продолжал изучение русского языка и, очевидно, настаивал на необходимости создания словаря (см.: Порудоминский В.И. Жизнь и слово. М., 1985. С. 100). Пушкин высказал ценную для Даля мысль о том, что все своеобразие русской речи наиболее свободно проявляется в сказке. При встрече в 1833 году в Оренбурге Пушкин пересказал Далю сказку о Георгии Храбром и о волке. А еще, будучи в Петербурге, Пушкин послал Далю свой рукописный экземпляр “Сказки о рыбаке и рыбке” с надписью “Твоя – от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому – сказочник Александр Пушкин”.

Возросший интерес к народной сказке, и, в первую очередь, интерес Пушкина (не только к сказке, но и к стихии народной речи) подтолкнул Даля к дальнейшим записям и обработкам русских народных сказок. Причем у Даля вырабатывается новое (по сравнению со старшими собратьями по перу) отношение к записанному материалу: он не стремится создать на основе полученных сюжетов собственные произведения. Даль воспринимает себя скорее как фольклориста, нежели как писателя. Он не только хотел донести до читателя колорит народной речи, а старался передать русский язык, на котором говорит простонародье, со всеми присущими этому языку лексическими и синтаксическими особенностями. В отличие от других авторов 20–30-х годов, обратившихся к жанру русской сказки, Даль не старался сделать язык произведения более гладким, не стремился приблизить народную речь к литературной. Уже в первой выпущенной им книге он хотел познакомить читателя с народной жизнью и показать ценность национальной культуры.

Не случайно первому изданию сказок Даля, так и не дошедшему до широкого читателя, предшествовало предисловие, напоминающее манифест, правда, обработанный в фольклорно-сказочном стиле (позже это предисловие было перепечатано в Собрании сочинений В.И. Даля 1861 года):

“Где наши головы масляные, узорчатые, бороды чесаные, мухорчатые, усики витые бахромчатые. Где кафтаны смурые, бархатные, шляпы бурые поярковые, кушаки шелково-бухарские, армяки татарские, рубахи щегольские красные, рукавицы вырестковые, тисненые, шаровары полосатые, сапоги с каймою строченые, на рубахах запонки грабенные, на кафтанах застежки золоченые? Ой, было, было время на Руси, что ходил молодец в кафтане, ходила девка в сарафане! Люди добрые! Старые и малые, ребятишки на деревянных кониках, старичишки с клюками и подпорками, девушки, невесты русские! Идите, стар и мал, слушать сказки чудесные и прихотливые, слушать были-небылицы русские! А кто знает грамоте скорописной великороссийской, садись пиши, записывай, набело семь раз переписывай, знай помалкивай, словечка не роняй! <...> Ополчитесь, доблестные сыны отечества, да не посрамим земли своея! Полно девицам-невестам нашим ходить-носить кудри вязаные-сырцовые, плетеные-шелковые; у нас на Руси и собачка каждая в своей шерсти ходит, а косы русские мягче шелку шемаханского, чище стекла богемского!” (Даль В.И. Повести, рассказы, очерки, сказки. М., 1964. С. 460–461).

В этом предисловии Даль обращался к читателям, любящим Русь самобытную и дорожащим национальными традициями, ставил вопрос об очищении русской культуры от иноземных заимствований. Им он стремился преподнести собрание русских сказок, каких печатная традиция еще не знала. Образованного читателя к языку сказок готовило предисловие, насыщенное красочной сказочно-этнографической лексикой.

При всем новаторстве подхода Даля к фольклорному материалу заметно определенное сходство речи повествователя в предисловии к “Русским сказкам” и балагурства Рудого Панька в “Вечерах на хуторе близ Диканьки”. Недаром эти книги появились практически одновременно.

Сам Даль в одной из сказок описывает сказочника, из уст которого могла исходить русская речь, изукрашенная пословицами, поговорками, просторечными выражениями: “Сказка из походов слагается, присказками красуется, небылицами минувшими отзывается, за былями будничными не гоняется; а кто сказку мою слушать собирается, тот пусть на русские поговорки не прогневается, языка доморощенного не пугается; у меня сказочник в лаптях; по паркетам не шатывался, своды расписные, речи затейливые только по сказкам одним и знает” (“Сказка о Иване Молодом Сержанте, Удалой Голове, без роду, без племени,

спроста без прозвища” // Даль В.И. Повести, рассказы, очерки, сказки. М., 1961. С. 393).

В сказках, которые Даль публикует в различных журналах в 30-е годы, преобладали сюжеты, характерные для волшебных сказок. Их место действия – “тридевятое царство, тридесятое государство”. Оно упоминается, например, в “Сказке о Иване Молодом Сержанте”: “В некотором самодержавном царстве, что за тридевять земель, за тридесятым государством, жил-был царь Дадон Золотой Кошель” (Там же. С. 394).

Описываемое окружение царя Дадона очень напоминает бюрократизированное российское государство. Подобная социальная конкретика была совершенно новой для волшебной сказки.

В сказках Даля 30-х годов появляются лубочные черты. Так, в “Сказке о бедном Кузе Бесталанной Голове и о перемстчике Будунтае” место действия определяется следующим образом: “Жил-был во земле далекой, промеж чехов да ляхов, старик гусляр да старуха гуслярка” ... (Там же. С. 424). Все, что находится за пределами своего мира, своего государства, представляется далеким, незнакомым, и народы разные там живут вперемешку. Это типичная черта лубочного представления о мире, характерная для волшебной сказки.

В этих же произведениях встречаются лубочные представления о роскоши – итальянский платочек (какой дала в дорогу Ивану Молодому Сержанту его жена), шелка шемаханские и т.д.

Язык сказок Даля 30-х годов более близок к языку русской фольклорной волшебной сказки, чем к языку сказки литературной. Стиль Даля отличается большим обилием пословиц и поговорок, которые часто присоединяются одна к другой, образуя целую цепочку: “Есть притча короче носа птичья: жениться – не лапоть надеть, а одни лапти плетутся без меры, да на всякую ногу приходится! И истинно; жена не гусли: поигравши, на стенку не повесишь, а с кем под венец, с тем и в могилу, – приглядишь, приноровишь, а потом женишь; примерь десять раз, а отрежь один раз; на горячей кляче жениться не ездят!” (Там же. С. 395–396); “Вольному воля, а спасенному рай; а чужая совесть – могила; за каждой мухой не угоняешься с обухом, и мой окрутник за тобой не погонится!” (Там же. С. 409). Такое обилие пословиц и поговорок делает язык сказок Даля уникальным.

Порой он сам создает выражения, напоминающие пословицы. Часто из них тоже выстраивается цепочка, но не столько для расцвечивания языка, сколько для явного морально-нравственного подтекста. А если подобная цепочка афоризмов начинает произведение, то заранее создается настрой не только на развлечение, но и на глубокие раздумья. Так начинается “Сказка о похождениях черта-послушника”: “Идет рыба на блевку, идет и на блесну – кто наелся былей сытных, приторных, тот поди для праздника перекуси небылицей тощей да пряною, редькой, луком, стручковатым перцем приправленною! Истина на-

хальна и бесстыдна: ходит как мать на свет родила, в наше время как-то срамно с нею и брататься. Правда – собака цепная; ей только в конуре лежать, а спусти – так уцепится, хоть за кого! Быль – кляча норовисгая; это кряж-мужик; она и редко пагает, да твердо ступает, а где станет, так упрется, как корни пустит! Притча – дело любезное! Она неряхую не ходит, разинею не прикидывается, не пристаёт как ножом к горлу: она в праздник выйдет, снарядившись, за ворота сядет от безделья на завалинку – кланяется прохожему всякому смело и приветливо: кто охоч и горазд – узнавай окрутника; кому не до него – проходи, как мимо кружки, будто не видишь, что люди по пятаку кидают!” (Там же. С. 409).

Подобное обилие моральных умозаключений, хоть и одетых в фольклорные одежды, выдает авторский стиль Даля, которому хотелось усилить и подчеркнуть мысль, содержащуюся в фольклорном источнике. Эти искусно выстроенные писателем цепочки придают его сказкам особую прелесть, узорчатость, а вместе с тем, – и мудрость.

В одной из сказок первого сборника есть очень интересный случай осмысления особенностей народного сознания через слово. В “Сказке о Иване Молодом Сержанте” рассказывается о многочисленных испытаниях, через которые прошел герой, но самым трудным из них оказалось сдержать свое слово и не спать трое суток. Долго держался Иван, но в конце концов не выдержал и заснул, а когда его окликнули, “он очнулся, да не нашелся, а вымолвил с перепугу слово русское: *виноват!* К пиву едется, а к слову молвится: *авось, небось да как-нибудь*, а если, на беду, концы с концами не сойдутся: виноват! Вот что нашего брата на русской земле и губит; вот за что нашего брата и бьют; да, видно, все еще мало; неймется!” (Там же. С. 404).

Подобное внимание к слову чрезвычайно характерно для Даля: слово выражает специфику национального сознания. Даль сначала добросовестно записывал народные сказки, а потом дополнял их имеющимся у него и им же собранным материалом. Подобный принцип работы сохранялся у него и в последующие годы. Но в 40-е годы сюжетики и язык сказок Даля меняются. В 30-е годы Даля привлекали волшебные сказки с довольно сложной коллизией, но бытовое начало, тем не менее, было в его сказках очень явным. В 40-е годы сюжетики сказок упрощаются, писателя больше привлекают социально-бытовые сказки и сказки о животных, но бытовому компоненту уделяется особенное внимание. Писатель еще ближе подошел к народной среде и изображал ее без прикрас. Подобная творческая эволюция вполне понятна: Даль как лексикограф и как этнограф постоянно открывал для себя и старался показать читателю все новые и новые пласты народной жизни, этот путь естественно привел Даля к “натуральной школе”.

Основная задача писателей “натуральной школы” – эстетическое освоение еще не освоенных сторон реальности, в том числе жизни раз-

личных сословий. В первую очередь, писателей “натуральной школы” привлекала жизнь низших сословий. Даль с его глубоким знанием народной жизни стал одним из ведущих представителей данного направления.

Жизнь простонародья В.И. Даль отражал как в своих рассказах, повестях и физиологических очерках (“Петербургский дворник”, “Денщик”, “Русак”, “Мертвое тело”, “Хлебное дельце” и др.), так и в сказках. Не все собранные им сказки Даль издавал (известно, что около 150 сказок он передал А.Н. Афанасьеву). Накопленные же за много лет сказки писатель издал уже под конец жизни в виде двух книг: “Первая первинка полуграмотной внуке. Сказки, песенки, игры” (СПб., 1871) и “Первинка, другая. Внуке грамотейке с неграмотною братиею. Сказки, песенки, игры” (СПб., 1871). Ранее же Даль издал два сборника, в которых содержались как записанные и обработанные сказки, так и сочиненные (границу между ними провести трудно): “Солдатские досуги” (1843) и “Матросские досуги” (1853). В этих сборниках, верный собственным ранее выработанным принципам и принципам “натуральной школы”, Даль знакомил читателя с жизнью, бытом, мышлением солдат и матросов – выходцев из народной среды, сохранивших ее взгляды и речь. В “Солдатских досугах” и “Матросских досугах” писатель показал народное трудолюбие и исконно русскую лень, народную смекалку (“Солдатский привар”) и недалекость. И все это находит отражение в слове.

Отличия же сказок 40-х годов от созданных в 30-е годы вполне очевидны, например, в отрывке из “Притчи о дятле” (сказка вошла в сборник “Солдатские досуги”): “Каяться и зарекаться хорошо, коли помнишь слово свое и зарок, и, сделав раз худо, станешь вперед от худы богатъ; а коли клятва твоя и божба крепка только до вечера, а с утра опять принимаешься за то же – так и в добром слове твоём добра мало” (Цит. по изд.: Сказки народов мира. В 10 т. Т. 7. М., 1989. С. 339).

Очевидно, что Даль старается в начале “Притчи...” сохранить близость к строю пословицы (и в языковом отношении, и в передаче морали). Видна и особая простота речи (нет прежней изукрашенности, узорчатости, которые были характерны для волшебных сказок первого сборника).

Насколько же изменилась лексика более поздних сказок, видно из следующего отрывка: “Дятел красноголовый лазил день-деньской по пням и дуплам и все стучал роговым носом своим в дерево, все доспрашивался, где гниль, где червоточина, где подстой (болезнь дерева, подсыхающего от корня. – И.А.), где дрябло, где дупло, а где свое место?” (Там же. С. 339).

Некоторые слова из сказок этого времени были знакомы только читателю, хорошо знавшему народный быт, народное отношение к природе и то понимание природы, которое было свойственно только про-

стонародью. Те же языковые особенности присущи и сказке “У тебя у самого свой ум”: “Козел повадился в огород: бывало, как только пастухи выгонят гурт свой, то и Васька мой сперва, как добрый, идет, головой помахивает, бородой потряхивает; а как только ребятишки засядут в овражке где-нибудь в камешки играть, то Васька и отправляется прямо в канусту”. Раз глупая овца отбилась от гурта, “зашла в чашу, в крапиву да в лапушник; стоит, сердечная, да кричит, да оглядывается (...) Увидавши козла, обрадовалась она, как родному брату: пойду, дескать, хоть за ним. Этот выведет: мне не первина (мне не впервые. — И.А.) за ним идти” (Там же. С. 340). Но для козла все заканчивается благополучно, глупую же овцу поймали и отстегали по бокам. Мораль, выраженная в заглавии, подтвердилась. И в этой сказке очевиден сугубо бытовой характер сюжета, наличие чисто народной лексики и упрощенных синтаксических конструкций.

Сказки, написанные в 40-е годы и позже, обычно выражают простую мораль, которая часто сводится к какой-либо пословице. Эти сказки Даля напоминают рассказы Л. Толстого, созданные им для детей, но лексика и синтаксис сказок Толстого очень просты и доступны человеку из любого сословия. В своих рассказах для народа Л. Толстой преследовал педагогические цели, которые были для него неотделимы от морально-нравственных. Даль же, опираясь на глубокое знание простонародной речи, освещал все стороны жизни и мышления народа.

В.Г. Белинский писал, что Даль знал и любил русского мужика, что “он умеет мыслить его головою, видеть его глазами, говорить его языком. Он знает его добрые и дурные свойства, знает горе и радость его жизни, знает болезни и лекарства его быта...” (Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т. 10. М., 1956. С. 80).

Для русской культуры сказки Даля всегда будут сохранять свою ценность не только потому, что запечатлели жизнь народа определенной эпохи и отразили вечные и устойчивые черты русской ментальности, но и тем, что заключают в себе сокровищницу русского языка.

Заметки текстолога



К творческой истории

“Сказки о Георгии Храбром и о волке” В.И. Даля

*Ю.П. ФЕСЕНКО,
доктор филологических наук*

Как известно, первая публикация “Сказки о Георгии Храбром и о волке” (Библиотека для чтения. 1836. Т. 14. Отд. 1. С. 133–144) весьма существенно отличается от её второй публикации (Были и небылицы Казака Луганского. СПб., 1839. Кн. 4. С. 101–121). В частности, здесь

появляется многозначительное примечание к заглавию: “Сказка эта рассказана мне А.С. Пушкиным, когда он был в Оренбурге и мы вместе послали в Бердскую станицу, местопребывание Пугачева во время осады Оренбурга. В. Даль”. Понятно, само привлечение пушкинского имени потребовало более тщательной художественной доводки произведения. Однако, на наш взгляд, имелись и другие причины для дополнительной переработки текста.

В Отделе редкой книги Государственной публичной исторической библиотеки России хранится журнальный оттиск сказки, правленный Далем и подписанный цензором четвертой книжки “Былей и небылиц” П.А. Корсаковым, на что уже давно указал В.И. Порудоминский (Прометей. 1968. Т. 5. С. 61). К сожалению, при этом почему-то было опущено другое немаловажное обстоятельство: оттиск входит в состав переплетенного авторского конволюта (сборника) различных статей и брошюр. На корешке переплета золотом вытеснено содержание по начальным буквам ключевых слов в названиях произведений. Перечислим их, оставляя в стороне находящиеся на страницах сборника маргиналии и опуская подробный библиографический комментарий: “Подольянка”; “Сказка о Георгии Храбром и о волке”; “Etwas über die Baschkiren”; “Bemerkungen über L. Zimmerman’s Entwurf des Kriegstheaters Russlands gegen Chiwa, und die beigefügte Geographische Analyse etc.” Оренбург, 1840; “О карте зауральских степей, изданной в Берлине”; “Об омеопатии (Письмо князю В.Ф. Одоевскому)”; “Памятная книжка для нижних чинов императорских казачьих войск”. СПб., 1837; “Описание моста, наведенного на реке Висле для перехода отряда генерал-лейтенанта Ридигера”. СПб., 1833; докторская диссертация по медицине, защищенная Далем в 1829 году в Дерпте. Из приведенных выборочно дат очевидно, что конволют был составлен не ранее начала 1840-х годов. Вводимый в научный оборот, он, несомненно, включает в себя незабываемые в том или ином отношении для Даля материалы и представляет особую ценность для будущего академического собрания сочинений писателя. Такое издание является, по нашему мнению, насущной задачей современной науки. Думается, вне постижения творческого наследия Казака Луганского, 200-летие со дня рождения которого мы ныне отмечаем, невозможно углубленное понимание актуальнейших вопросов, в том числе сохранения национальной самобытности и путей реформирования России.

Что касается далевской правки в журнальном оттиске, то она произведена на свободных полях листов, а также на трёх вклейках между стр. 134–135, 138–139, 142–143. Правка имеет два слоя: карандашный (более ранний) и чернильный (более поздний), ибо записи пером всегда наносятся поверх карандаша. Одни исправления устраняют явные опечатки и различные мелкие орфографические и пунктуационные недочеты, другие – изменяют стилистические и смысловые акценты. Уточ-

нения второй группы в количестве 16 пронумерованы рукою Даля на полях карандашом. Причем цифры 2, 3, 4, 6, 11 отсутствуют вовсе, хотя подразумеваемые под ними позиции без труда обнаруживаются в тексте. Поверх цифры 10 чернилами нанесена обозначенная ею вставка. Цифры 5, 12, 16 перечеркнуты пером. Вероятно, перечёркивания вызваны колебаниями в определении значимости того или иного исправления для всей художественной структуры сказки.

Воспроизведём пронумерованную правку целиком. Перечеркнутое в оригинале заключено у нас в квадратные скобки, вновь привносимое автором набрано курсивом, а предположительно восстанавливаемая нами нумерация показана в угловых скобках.

С. 134 <1.> "... однако, до поры до времени, [поколе смерть сама на меня не наткнется, не хочу быть дураком] *надо изворачиваться своим умом, своим хвостом, раскидывать по кляцям* (то есть капканам, ловушкам – см. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. II. С. 117, 123–124) *да смеять по пальцам*".

<2.> "... и стал для забавы и от безделья, щелкать зубами, [делать наблюдения над своей шубой] *шарить по шубе*".

С. 135. <3.> "... по встретившимся [непредвиде] *нечаянным препятствиям...*".

<4.> "... кто захочет [хва] *ходить и миловать...*"

С. 137. <5.> "... [будь баранина, или говядина] *говядина ль, баранина ль...*"

С. 138 <6.> "... об утолении законного *волчьего* голода [его]".

<7.> "Обругав мошенниками и быка и всех воевод Георгия, – [разумеется не вслух] *да только про себя*, – пошел он...".

<8.> "Видно [было законное препятствие] *не умел ты и попросить по людски*, продолжал Георгий Храбрый:

<9.> видно [не так подвели справку] *и там только ерился да бодрился!*"

С. 139. <10.> "Все люди как люди, один ты шайтан; [всё подаешь нам прошения, да требуешь законного решения] *лезет как оса в глаза...*"

<11.> "Поди к старости барану, да попроси из чести, чтобы накормил тебя, да и отвязись от меня; [не то велю объявить тебя ябедником и взять с тебя подписку, что вперед не будешь домогаться удовлетворения ни по какому делу] *сlyшал аль нет?*"

С. 142. <12.> "Я знаю, что вы [умом своим да знанием законов] *умом-разумом своим, да козырным художеством* всегда сыты бываете..."

С. 143. <13.> "... а сказывают, [что был-де волк кроток, смирен и добр зело, и все его жаловали, и в гости к себе звали, и членом разных благотворительных комитетов назначали] *что был он с виду страшный, лютый зверь, не собаке чета, не чекалу брат; а кроток и смирен был норовом потому, что ждал и чаял суда и расправы от Георгия,*

по начальству. И так шубу свою серый наш прогулял, выменял поршню на лапти, поправился с лавки под лавку”.

⟨14.⟩ “Теперь ни [какой плут] кой шут тебя не станет чуждаться...”

⟨15.⟩ “Ныне [у статских] все пошли шить кафтаны на такой фасон...”

С. 144. ⟨16.⟩ “... а ему, в чужих [сапогах] шароварах да в чужом камзоле, плохая забава...”

Все привносимые изменения сориентированы на фольклорные паремии и просторечие, что особенно заметно в позициях 1–5, 7. В позициях 14–16 проясняется затемненный смысл: *шуту*, а не *плуту* сподручнее общаться с “переодетым”, – но не в *сапоги*, а именно в *шаровары* и *камзол* – волком; *все*, а не только *статские* хотят одеваться красиво. В позициях 8–13 последовательно устраняются избыточные обозначения государственно-бюрократических реалий: *законное препятствие*, *подвести справку*, *подать прошение*, *законное решение*, *велеть объявить*, *взять подписку*, *домогаться удовлетворения по делу*, *знание законов*, *член благотворительных комитетов*. В результате подобных изъятий укрупняется позиция 7, ибо только *волчий голод* признаётся по сути *канонным*. Трудно даже предположить, что непревзойденный знаток русского языка Даль изначально допустил такое количество перифрастических оборотов и канцеляризмов в совсем небольшом по объему произведении.

В “Былях и небылицах” эта правка самым радикальным образом переосмысливается. Изымаются позиции 3, 7, 8, 9, 12. Позиции 2, 10, 11, 13, 14, 15, 16 подвергаются изменениям (искать по шубе своей – 105; пристает с ножом к горлу – 113; не приставай что больно к подлекарю – 113; а сказывают, что был страшный – 119; теперь никто тебя не станет бояться – 119; ныне вишь пошла мода на такой фасон – 199; а ему в чужих шароварах, плохая расправа – 120). Уместно говорить только об относительной сохранности позиции 4, где изменилось лишь ближайшее словесное окружение (кто холить да миловать – 107), и 5, где все ограничилось перестановкой имен существительных (баранина ль, говядина ль – 110–111). При столь фронтальном несовпадении трудно рассматривать правленный оттиск как промежуточную редакцию произведения.

На наш взгляд, дальевская правка на отдельном оттиске восстанавливает первоначальный текст сказки, представленный в “Библиотеку для чтения”, но переделанный редактором журнала О.И. Сенковским. Позднее в письме к М.П. Погодину от 19 ноября 1840 года Даль сообщал о том, что отказался от сотрудничества в “Библиотеке” из-за постоянного искажения своих произведений (Переписка В.И. Даля и М.П. Погодина. Часть I/Публ. А.А. Ильина – Томича//Лица. М. – СПб., 1993. Вып. 2. С. 295).

Гораздо сложнее судить о причинах появления этой правки. По всей видимости, правленный оттиск предназначался для показа Пушкину.

Дело в том, что содержащееся в “библиотечном” варианте упоминание о царе Салтане и прозрачные параллели со “Сказкой о рыбаке и рыбке”, о чем нам приходилось уже говорить (Русская речь. 1999. № 2. С. 40, 45), однозначно связывали общий замысел далевского произведения со сказочным творчеством Пушкина. Навязчивые намеки на современные социальные отношения граничили с открытым вызовом власти имущим. У отказавшегося от сотрудничества в “Библиотеке” еще весной 1835 года (после публикации “Сказки о рыбаке и рыбке”) Пушкина могло сложиться превратное представление о Дале, который, напомним, в сентябре 1833 года по-дружески помогал ему собирать материалы для “Истории Пугачева” в Оренбуржье. Отсюда стремление вернуть тексту первоначальный вид и пронумеровать наиболее значимые исправления. Поэтому совершенно конкретный смысл приобретают приводившиеся нами строки из завершенной Далем в Оренбурге 16 октября 1836 года и присланной в пушкинский “Современник” статьи “Во всеуслышание”: “Каким образом статья, которую я напишу, в которую вылью свои мысли, понятия, чувства, (...) каким образом статья эта является за мою подписью в таком виде, что содержит намеки и обороты, коих я с намерением чуждался, что проникнута таким духом, в каком я не писал и не стану писать никогда...” (Там же. С. 40–41). Кстати, чуть ниже Даль прямо осудил публичную похвалбу Сенковского в неустанном “улучшении” авторских рукописей: “И вот, братья мои благосклонные, выходит книга семнадцатая Библиотеки, и не таится уже, не инословит, (...) сама с себя снимает личину и говорит так: Редактор Библиотеки есть настоящий редактор, то есть он переделывает все статьи сотрудников на свой лад. (...) Неужели найдется в обширном царстве нашем хотя один читатель, который бы ни кинул книгу от высшей степени неодоволения...” (Русский архив. 1880. Кн. 3. С. 475–476).

В контексте наших рассуждений становится понятным, почему кто-то, обладающий для Пушкина непререкаемым авторитетом, должен был удостоверить истинность правки. Именно поэтому и принял участие в восстановлении первоначальной редакции сказки Корсаков. Еще в 1817 году он опубликовал в “Северном наблюдателе” стих Пушкина, а в конце 1836 – начале 1837 годов находился с ним в доверительных деловых отношениях. В свою очередь, Пушкин чрезвычайно высоко оценивал профессионализм Корсакова-цензора и литератора (см.: Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И. Сквозь “умственные плотины”. М., 1986. С. 333–348). Его подписи находятся, как справедливо отметил В.И. Порудоминский, на вклейках и в конце текста, а также, дополним, в разнообразных вариациях – *Корс*, *Цен*, *П* – на каждом нравом поле нечетной страницы. Перед нами явное свидетельство очень тщательной перепроверки далевской правки. Отцензуровав впоследствии и книжку “Былей и небылиц”, Корсаков тем самым, по сути, подтвердил правдивость сообщенных в далевском примечании сведений.

Первоначальный сказочный текст – и об этом можно говорить почти утвердительно – был восстановлен вскоре после написания статьи “Во всеуслышание”. Вероятно, это произошло во время приезда Даля из Оренбурга в Петербург по служебным делам в начале 1837 года. В противном случае полемика с “Библиотекой” да и сам факт напечатания сказки отодвигались в слишком отдалённое прошлое и теряли свою актуальность.

Однако очевидно и то, что при редактировании сказки Сенковский не преследовал исключительно злого умысла. Надо полагать, он всего-навсего реализовал на практике свою эклектическую теорию разговорной речи, вызвавшую возражения и Даля и Пушкина (см.: Даль В.И. Повести. Рассказы. Очерки. Сказки. М.-Л., 1961. С. 32, 447). Иначе Даль попросту не возобновил бы сотрудничества в “Библиотеке” и не напечатал здесь в 1843 году роман “Вахх Сидоров Чайкин”.

И хотя редактура Сенковского была в целом отвергнута Далем, частично он все же воспроизвел ее. С небольшим уточнением в “Былях и небылицах” восстановлена перечеркнутая было строка в позиции 1 (поколе Господь терпит грехам моим, поколе смерть сама на меня не напугнулася, быть дураком не хочу – 104–105), а в позиции 6 снято вставленное было слово *волчьего* (107). Даль, несомненно, глубоко проанализировал первоначальный вариант сказки и не мог не признать того, что Сенковский лишь до примитивности прямолинейно усилил присущие тексту глобальные параллели: вымысел (прошлое) – действительность (современность), животный мир – человеческое общество. Но в итоге авторская установка на обобщение изображаемого раздробилась на ряд аллегорий и олицетворений. Притча в значительной мере превратилась в басню. Поэтому в “Былях и небылицах” Даль создал, в сущности, новую версию сказки.

Если в “Библиотеке” Георгий называл своих подопечных по их должностям: *тур гнедой* – восвода, *тарпан* – окольный, *баран* – староста, *свинья* – десятская, то во втором варианте *тур гнедой* “разжалован” до *сотника*, а чины остальных животных опущены. Впрочем, каждый читатель вправе сам домыслить всевозможные титулы и ранги. Тем более что в тексте вводится пассаж о Георгии, который наладил “кой-какой распорядок, указал расправу, расписал и порядил заплечных мастеров, волостных голов, писарей, сотских и десятских, словом, сделал всё, как быть следно и должно” (109), а затем и бессмертный комментарий к сказанному: “... не было еще ни настоящего устройства, ни порядка, хоть были уже разные чиновники, сотские, тысяцкие и волостные...” (115). И тут же появляется отсутствующее в “Библиотеке” провидческое размышление волка, своеобразный взгляд из будущего: “Еще и грамоты не знают, – подумал серый про себя, – и переписка не завелась, а какие крючки да проволоочки по словесной расправе выкидывают! Ну, а чтобы ещё было, кабы далось им это письмо?”.

Кстати, в тексте осталось едва ли не единственное место с ярко выраженным канцеляритом: “Он (то есть волк. — Ю.Ф.) подошел к быку туриному и просил, по словесному приказанию Георгия Храброго, сделать какой там следовать будет распорядок, как говорится в приказной строке, об утолении законного голода его” (111).

Сатирическое звучание произведения не ослабевает, а усиливается. Даль ограничивает агрессивность волка только необходимостью есть скромное, гораздо пространнее описывает его страдания от жестоких расправ, подчеркивает его смиренность при выполнении благих наставлений Георгия. В обманутом и преданном всеми, зашитом в собачью шкуру кривым Тараской, “истом мученике первобытных и первородных времен” злые собаки безошибочно чувствуют *самозванца*. Слово это, мимоходом намекающее на знаковую роль самозванства в крестьянских восстаниях XVII–XVIII веков, не случайно, конечно же, вносится в книжный текст. Ведь новоявленный самозванец говорит и думает потатарски, по-калмыцки, по-русски, как бы воплощая в себе надежды многонациональных социальных низов России на лучшую долю.

Повествование ведется одновременно о прошлом, настоящем, будущем и возводится к доисторическим “первородным временам”. Используя заложенный в сюжете мифологический потенциал, Даль предлагает всеобъемлющее объяснение государственных предписаний, “кому кого душить и кого бояться; кому ходить со шкурой, кому без шкуры, кому быть сытым, а кому голодным”. В создаваемой целостной картине мира природа и общество не отделены друг от друга, анималистические и антропологические штрихи взаимопроникаются.

Мирская сходка, созданная Георгием для наведения порядка, о чем говорится в экспозиции сказки, и последующее развитие событий подчеркнуто соотносятся с основными положениями трактата Ж.-Ж. Руссо “Об Общественном договоре”. Все повествование подтверждает, в частности, следующую мысль философа: “На деле законы всегда приносят пользу имущим и причиняют вред тем, у кого нет ничего...” (Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 167). Но ни о каком исконном нравственном совершенстве “новозданцев”, “новичков мира нашего” не может быть и речи хотя бы потому, что о законодательном “вече”, “табу-не”, “стаде” волк узнает от бегущей мимо “с цыпленком в зубах лисы”. Свободно промышляющая скромным лисица и добывающийся правды голодный волк резко противопоставлены согласно фольклорным паремиям: *Лисичка всегда сытей волка бывает (или: живет); Волк-голодай, лиса-лакомка* (см.: Даль В.И. Пословицы русского народа: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 155). Кстати, и вся событийная канва сказки восходит к бродячему фольклорному сюжету о “волчьем пастыре” (см.: Азадовский М.К. Сказка, рассказанная Пушкиным Далю // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.-Л. 1939. Т. 4–5. С. 488).

Из непосредственных реминисценций следует прежде всего отме-

тить перефразировку басни И.А. Крылова “Волк на псарне”: “Волк попал не на псарню и не в овчарню; он просто затесался в казармы, (...) забежал прямо в швальню” (Ср. в оригинале: “Волк ночью, думая залезть в овчарню, Попал на псарню” – Крылов И.А. Соч.: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 491). Иначе говоря, в текст вовлекаются различные культурные и исторические пласты, что обогащает повествование огромным количеством дополнительных ассоциаций.

Миф о справедливом устройстве намечается в разумных как будто советах Георгия и смиренной покладливости волка, но каждый раз разрушается при столкновении с действительностью. Серый и рад бы подчиниться новым постановлениям, но это означает для него верную голодную смерть. Исполдволь набирает силу другой, поистине пророческий миф о превращении законопослушного волка в негодующего от лицемерия и произвола властей хищника. Возникающий в итоге образ манифестирует непреодолимое противоречие между кучкой угнетателей и обездоленными массами, становится зловещей эмблемой исторического развития России.

И если обращаясь к Георгию сначала, волк наклонял “униженно неповоротливую да покорную шею свою” (в “Библиотеке” было *неповоротливую шею*), то по мере очередных горьких уроков он готов съест и самого Георгия, ибо теряет “всякую веру в начальственную расправу” (в “Библиотеке” было *в правду и расправу*). Поэтому и появляется в “Былях и небылицах” новая концовка: “С этой-то поры, с этого случая, у нашего серого, сказывают, и шея стала кол колом; не гнётся и не ворочается, оттого что затянута в чужой воротник”. Именно такой, социально острой, одновременно итоговой и пророческой, предстаёт сказка, рассказанная Далу Пушкиным.

Луганск
Украина

ШЕРБЕТ

В.Г. ДЕМЬЯНОВ,

доктор филологических наук

Русская рукописная газета XVII века Вести-куранты часто публиковала переводы с цесарских (немецких) и голландских печатных курантов. В 1669 году в сообщении из Парижа подробно описывался прием 19 ноября 1669 года турецкого посла Мустафея Фереги (вариант в им. п. – *Мустоф Ферег*) высокопоставленным французским сановником де Лионом (вариант *те Лионе*), занимавшим при короле пост министра иностранных дел: «... посол всех своих людей кроме переводчика выслали и говорили промеж себя болши двух часов а после того подносили питья тукаде и сорвет [далее зачеркнуто: “а подносили г(о)с(по)д(и)ну де Лиону на коленях а послу стоячи и отпустил ево с добрым удовольствием (...)”]».

Наше внимание привлекло название напитка *сорвет* в несколько необычной огласовке. Поскольку прием турецкого посла при французском королевском дворе происходил по “турскому звичаю как ведется на салтанском дворе”, то естественно было предположить, что речь в этом интересном и живописном своими деталями описании идет о напитке восточного происхождения. В голову пришло прежде всего название *шербета*. При слове *шербет* у современного читателя возникает прежде всего представление о “молочной ароматной помадке разных цветов с дроблёнными орехами”. Так определяется одно из трех значений слова *шербет* в 4-томном “Словаре русского языка” под ред. А.П. Евгеньевой (М., 1984).

Первое значение “восточный фруктовый прохладительный напиток”, хотя и является менее актуальным и более ранним в современном русском языке, во втором значении, близком к современному “густая сладкая масса, приготовляемая из фруктов, кофе, шоколада и сахара (часто с орехами)”. Поздний характер возникновения значения “кондитерское изделие восточного происхождения” подтверждается “Словарем русского языка” под ред. Д.Н. Ушакова, который почти 60 лет тому назад еще не отмечает этого значения у слова *шербет*. Как источ-

ник заимствования 4-томный словарь и “Словарь современного русского литературного языка” (М.–Л., 1965) приводят турецкое *şarbat*, от арабского.

Подобные же восточные этимологии для названия *шербет* мы встречаем и в иных словарях: Даль В.И. “Толковый словарь живого великорусского языка (1882; “турцк. румынс. вода с вареньем, подслащенная вода”), Miklosich F. *Die türkischen Elemente in den südost-und osteuropäischen Sprachen* (Н. П. Wien, 1884; отдельный оттиск из XXXV тома Записок философско-исторического класса Императорской Академии наук (*şerbet* {...} ar. ein Trinken, Wein, türk. Trank, sorbet, usw. buld *şerbet*, *şirbet*, *şerbetli*, *serbe*, *şerbet*, *şerbetaşce* Geschenk auf Meth, rum *şerbet*, *şerbedziu*, griech griech {...} kurd. *şerbet*; “Сравнительный этимологический словарь русского языка” (1896; тюрк. *şarbat* “сироп”); Радлов В. “Опыт словаря тюркских наречий” (1911; из др. евр. {...} *шэрбэт* из араб. *шарбат* “напиток из воды, сахара [сиропа] и лимонного сока, лимонад”).

Что касается времени проникновения слова *шербет* в старорусскую письменность, то самым ранним документальным неискаженным свидетельством его фиксации следует считать указание Н.Н. Поляковой в ее кандидатской диссертации “История наименований напитков в русском языке XI–XVII вв.” (М., 1982 – ИРЯ АН СССР) со ссылкой на Проскинитарий Арсения Суханова (73,1649 – 1653 гг.): “а до тех мест в среду и в пяток и в пост шербет пивал с сахаром сам патриарх”. *Проскинитарий* – описание путешествия по святым местам города Иерусалима. Ссылка Фасмера в его словаре на то, что слово в огласовке *шерт* встречается в сочинениях русского публициста XVI века Ивана Пересветова, является недоразумением.

Действительно, в списке “Сказания о Магмете-салтане” И.С. Пересветова в составе сборника, датируемого тридцатыми годами XVII века, читаем “шерт. пит”. Но сразу же вкрадывается подозрение, что такое написание является опiskой (пропущен слог *бе*). Действительно, именно таким образом трактуется это “слово” в пятом издании “Хрестоматии по древней русской литературе XI–XVII вв.” Н.К. Гудзия (М., 1952), где в подстрочном примечании дается исправленное чтение: “**шербет** – напиток”. Фасмер ссылается именно на это издание “Хрестоматии” Н.К. Гудзия. Но неточно указывает страницу: 264 вместо 266 и опускает исправленное подстрочное чтение. В “Хрестоматии по истории русского языка” (авторы-составители В.В. Иванов, Т.А. Сумникова, Н.П. Панкратова, М., 1990) это место также трактуется в примечании 8 как описка. Очень вероятно, что само слово было известно в памятниках среднерусской письменности уже в середине XVI века и было в протографе “Сказания о Магмете-салтане” И.С. Пересветова, который был написан около 1547 года: лексика при переписывании старых текстов обычно сохраняется неизменной. Но утверждать это с

полной определенностью мы не можем, ввиду того, что сам протограф И.А. Пересветова до нас не дошел. Нам известны два издания текста “Сказания о Магмете-салтане”, но оба по позднему списку XVII века (ЧОИДР. М., 1908. Кн. 1 [изд. В.Ф. Ржигой] и “Сочинения И.С. Пересветова”. М.–Л., 1954). Как свидетельствуют приводимые В.Ф. Ржигой разночтения, при переписывании “Сказания” в XVII веке это место подвергалось дальнейшим искажениям: *шерт(ь)* превращалось в *шерсть*.

До сих пор речь шла у нас об огласовке *шербет*, восходящей к восточным источникам: арабскому, персидскому, турецкому. В нашем случае: *сорветь*. Чтобы прояснить причины появления согласных *с* и *в*, остановимся вначале на одной вариации, имеющей, по нашему мнению, прямое отношение к данному случаю. Неоднократно в тексте сообщения из Парижа встречалось исправление: *де Лионе (из те Лионе)*. Речь идет о государственном секретаре (так назывался пост министра иностранных дел) при французском короле Людовике XIV Юге де Лионе (государственный секретарь с 1662 по 1671 гг.). В его руках в эти годы была сосредоточена вся практическая дипломатия, и его ведению подлежали, в частности, беседы с послами о мирных договорах (о нем более подробно см. в кн.: Борисов Ю.В. Дипломатия Людовика XIV. М., 1991). Турция, насколько нам известно, в то время еще не имела своего официального представителя во Франции, и турецкий “посол Мустафей Ферег” выполнял, по всей видимости, будучи в Париже, функции “нарочного” посла, то есть посла по особым поручениям.

Замена *т* на *д* и воспроизведение французского немого *е* на конце слова – свидетельства того, что орфография имени прошла немецкое посредство (напомним, что перевод был сделан “с цесарских и голландских курантов”). Следы такого же посредства мы вправе ожидать и при воспроизведении орфографии *сорветь*.

И действительно, в “Немецком словаре” братьев Гримм отмечено, что *sorbet* – сладкий освежительный напиток по турецкому и персидскому образцу, в простейшем виде состоящий из настойки с водой на изюме, затем смешиваемый с лимонным соком, сахаром и амброй или другими ароматическими веществами и употребляемый в охлажденном виде (Grimm J. und Grimm W. Deutsches Wörterbuch. Bd. X Abt. 1. Leipzig, 1905). По мнению Гриммов, немецкое название восходит к итальянскому *sorbetto* и соответствует французскому *sorbet* и испанскому *sorbete*. Они кладут в основу немецкого слова тюркское, персидское, арабское *schorbet*, не отрицая при этом возможности влияния латинского *sorbete*.

С начала XVIII века (1727 г.) в немецком языке зарегистрирована орфография *scherbet*, *tscherbet*, которая соответствует непосредственно восточной форме. Можно предполагать, что слово заимствовалось в немецкий язык дважды из разных языков: первый раз – из итальянского, второй – из восточных языков. И та, и другая формы до сих пор со-

существуют в немецком языке. Такое “двойное” заимствование в одном языке – случай нередкий, он отражает контакты с различными языками на протяжении истории, насчитывающей не одно столетие.

Замену немецкого *h* на русское *в* можно объяснить как мену, восходящую к варьированию *h/w* на почве старонемецких диалектов. В.М. Жирмунский в “Истории немецкого языка” (М., 1956) указывал на то, что средневерхненемецкое сочетание согласных *rw* (средневерхненемецкий период – это XII – XIII вв.) эволюционировало в сторону новонемецкого *rh* (ранний новонемецкий – это XIV–XVI вв.). Конечно, переход *rw* → *rh* завершился до XVII века, но по отдельным немецким диалектам старое произношение могло задержаться и на более позднее время. Вообще, сохранение архаических фонетических явлений в диалектах нередко. Не исключено, что в немецком оригинале присутствовало именно *υ* (*w*) в орфографии слова. Судить об этом с полной определенностью мы не можем, поскольку не располагаем оригиналом западноевропейских курантов.

Далее необходимо проверить возможность голландской версии замены *h* на *υ*, современное голландское *sorbet* взято из Большого словаря нидерландского языка ван Дале. Ван Дале считает источником голландского слова – арабское *sarbat* (Dale van. Groot Woordenboek des Nederlandse Jaal. D. II's Gravenhage, 1976).

С.А. Миронов в книге “Становление литературной нормы современного нидерландского языка” (М., 1973) пишет: “Сопоставляя системы согласных фонем обоих вариантов среднидерландского [XII–XV вв. – В.Д.] и современного нидерландского языка [новонидерландский период начинается с XVI в. и выделяется как переходный этап к современному периоду. – В.Д.] как два хронологически отдаленных друг от друга синхронных среза, отражающих различные состояния или этапы эволюции фонологической системы нидерландского языка, мы обнаруживаем между ними следующие расхождения: (...) 3) в анлауте [начале слова. – В.Д.] закрепилась новая, лабиодентальная фонема *w* [совпадавшая с русским (*в*). – В.Д.], заменившая старую билабиальную [совпадавшую с русским *б*. – В.Д.]...”

То есть, исторически в нидерландском языке движение происходило в направлении, обратном тому, которое было в немецком. Если обозначить эти звуки русскими буквами, то получим следующую картину эволюции: в нем. [*в*] → [*б*], в нидерл. [*б*] → [*в*].

Таким образом, равно возможна трактовка перехода *б* → *в* как на немецкой, так и на нидерландской почве. Но здесь необходимо подчеркнуть одно различие: при “немецком” варианте трактовки [*в*] объясняется как архаизм, при “нидерландском” – как новообразование. Но поскольку в нидерландском этот переход затрагивал лишь позицию анлаута, а в немецком он имел место в позиции середины слова (инлаут)

после *г*, объяснение перехода *сорбетъ* → *сорветъ* на почве немецкого языка представляется для курантского примера более вероятным.

Что касается чередования *с/ш*, в начале именования напитка, то оно достаточно ясно очерчивает западные пути миграции слова (начальное *с-*) и его восточные ареалы (начальное *ш-*). Вопрос о том, правомерно ли сближение “западного” и “восточного” ареалов в рамках хронологически углубленной этимологии, достаточно дискусионен. “Немецкий словарь” Гриммов (уже упомянутый) допускает, что все западные варианты с *s-* восходят к латинскому *sorbere* “поглощать, вбирать (воду), всасывать, проглатывать”. В таком случае итальянское *sorbetto* как основной непосредственный источник немецкого, французского, испанского, польского (*sorbet*) названий напитка следует рассматривать как страдательное претериальное (*претерит* – прошедший, прошлый) причастие со значением “поглощенное, поглощенное водою”.

Второе объяснение: вариации *с-/ш*- могли иметь место уже на арабской почве, отразив возможности разного чтения (а может быть, и произношения?) арабских букв *син* и *шин*, отличавшихся только пунктуацией, как и в случае с древнееврейскими *син* и *шин*. Но это объяснение нуждается в проверке вариаций на почве восточных языков. Во всяком случае, нельзя не отметить наличия в словарях арабского *sarbat* (у ван Дале) и тюркского *sorbet* (у Миклошича).

Вариант названия шербета *сорветъ* показывает, насколько важен учет западноевропейских данных при изучении миграции ориентализмов (слов восточного происхождения) в среднерусских текстах. Вестикуранты XVII века как русские переводы с западноевропейских газет способны предоставить в наше распоряжение малоизвестные или вовсе неизвестные сведения о путях этой миграции, которые представляется возможным проследить на примере отдельных слов.

В.М. АЛПАТОВ. История лингвистических учений

В учебных программах филологических факультетов университетов и пединститутков содержится курс общего языкознания, или, как его еще называют, история лингвистических учений, призванный осветить основные этапы становления и развития русской и мировой лингвистической мысли: от античности и Средневековья до нынешнего состояния науки. Как ни странно это может выглядеть сейчас, когда имеется в общем-то неплохой подбор специальной литературы, до сих пор в широком употреблении находятся написанные несколько десятков лет тому назад курсы и хрестоматии В.А. Звегинцева и Ф.М. Березина, а еще раньше В. Томсена и Я.В. Лои. Современная наука и получивший новый импульс инструментарий разработок в области языковедения нуждаются в переосмыслении с новых, более адекватных времени, позиций, с учетом новых тенденций, литературы, взглядов. Эти вопросы и призвана решить книга В.М. Алпатова, выпущенная вторым изданием в серии “Языки русской культуры” (М., 1999; 1-е изд. – М., 1998).

Стоит отметить прежде всего стройную концепцию учебного пособия В.М. Алпатова, осветившего основные направления лингвистической мысли XVI–XX вв., давшего квалифицированный анализ и оценку деятельности выдающихся языковедов. Как пишет автор в *Предисловии* к своему труду, он стремился “рассмотреть историю языкознания несколько шире”, чем это традиционно сложилось, “упомяная и важнейшие конкретные позитивные результаты, полученные наукой о языке в ходе ее развития” (с. 9).

Принципиальным в лингвистике, как и в другой точной науке, является вопрос о *традициях*, которым открывает книгу В.М. Алпатов. Понять развитие науки нельзя без осознания “цивилизационного пространства” и его философского воздействия на людей. Ученый отмечает пять основных лингвистических традиций, определивших в дальнейшем общее течение научной мысли в этой области: индийскую, античную, китайскую, арабскую, японскую. В этой же части автор освещает проблемы синхронии – диахронии, определяет состояние “языка культуры”, пишет о том, как складывался исторический подход к пониманию и описанию языка, особо выделяет отношение разных традиций к норме.

Последующие главы книги более подробно анализируют состояние языкознания в позднее время, в XVIII–XX веках. В.М. Алпатов прослеживает становление сравнительно-исторического метода, отдельные главы посвящая деятельности В. фон Гумбольдта и А. Шлейхера, мла-

дограмматизму (здесь автор касается и взглядов русских ученых, представителей Московской лингвистической школы – Ф.Ф. Фортунатова, А.А. Шахматова, В.К. Поржезинского и др. на языковые традиции, отмечает новаторство грамматических идей и устарелость общетеоретического подхода к языку и т.п.). Названная В.М. Алпатовым глава “Диссиденты индоевропеизма” освещает взгляды Х. Шухардта, француженско-швейцарскую школу “лингвистической географии” Ж. Жильерона, здесь же он говорит и о влиянии идей Н.Я. Марра на развитие лингвистической мысли в XX веке. С большим интересом читаются главы о Н.В. Крушевском и И.А. Бодуэне де Куртенэ, А. Мейе и Ж. Вандриесе, Э. Сепире, деятельность которых оказала заметное влияние на становление современной лингвистики. Из направлений в языкознании XX в. автор выделяет и отдельно рассказывает о глоссемантике, Пражском лингвистическом кружке, дескриптивизме, структурализме.

Со знанием дела и большой информативностью написана глава о советском языкознании 1920–1950-х гг., в которой освещаются деятельность и труды старшего поколения лингвистов – Г.А. Ильинского, А.М. Селищева, Л.В. Щербы, А.М. Пешковского, а также рассматриваются идеи Г.О. Винокура, Е.Д. Поливанова, Н.Ф. Яковлева и Московской фонологической школы. Здесь же немало места уделено развитию типологии в СССР и одной из центральных фигур этого направления – академику И.И. Мещанинову. В последующих изданиях было бы целесообразно отдельно осветить деятельность академика В.В. Виноградова, находившегося в центре научных исканий русских филологов XX века. Завершается книга главами о Е. Куриловиче, Р. Якобсоне, Н. Хомском.

Каждая глава книги заканчивается подбором основной литературы: как статей, так и отдельных изданий, позволяющих читателям более подробно ознакомиться с трудами ведущих специалистов в той или иной отрасли языкознания. Удачно, на наш взгляд, составлены приложения к книге, в их числе биографическая и хронологическая таблицы событий. Очень полезным для изучающих историю лингвистических учений окажется и хронология русских переводов зарубежной лингвистики, а также список публикаций классиков отечественного языкознания и центров лингвистической мысли. Весьма подробен предметный указатель, отражающий основные понятия лингвистики и их краткую характеристику.

В целом следует признать, что новая книга В.М. Алпатова будет достойно восполнять существующий до сих пор пробел в пособиях такого рода, а читая ее, мы не останемся равнодушными к истории науки и интонации самого автора, с большим уважением, доступно и по-новому осветившему сложные проблемы мирового языкознания.

“Лик” ружья в слове солдата

А.Н. КОЖИН,

доктор филологических наук

Летом 1941 г. бронированные орды немецко-фашистских захватчиков рвались к жизненно важным районам нашей страны. Ружейный огонь пехотинцев не мог остановить вражеские танки и бронемашин, стрельба из винтовок и автоматов наносила урон лишь живой силе противника.

В это трудное время ожесточенной битвы с врагом на вооружение действующей армии поступает новый вид стрелкового оружия, предназначенный для поражения бронированных машин противника. Это было *противотанковое ружье*, бронебойно-зажигательные пули которого пробивали броню вражеских танков.

В пехотных частях создаются подразделения, определяющие характер боевой деятельности по использованию поражающих свойств этого вида ружейного огня: *отделение противотанковых ружей, взвод противотанковых ружей, рота противотанковых ружей*.

Возникает система обозначений, определяющих специализацию военнослужащих по отношению к такому виду стрелкового оружия: *расчет противотанковых ружей* – группа военнослужащих по обслуживанию этого оружия. Более того, в *расчете противотанкового ружья* выделяется *первый номер* (тот, кто направляет оружие в цель) и *второй номер*.

В речи фронтовиков, отражаемой в периодике того времени, широко используются обозначения этого вида стрелкового оружия: “Все бойцы были вооружены *противотанковыми ружьями*” (Комс. правда. 1941. 5 нояб.); “*Противотанковое ружье* в умелых руках – грозное оружие” (Веч. Москва. 1941. 10 дек.).

Наименование *противотанковое ружье* вписывается в систему понятий военного дела: определяющий компонент раздельнооформленной номинации указывает на средство, применяемое в борьбе с танками: *противотанковая* (граната, мина, бомба, пушка, артиллерия, оборона, засада), *противотанковый* (район, узел, рубеж, вал), *противотанковое* (орудие, препятствие, заграждение).

Терминологическое обозначение эффективного средства борьбы с танками при отдаче команд, приказаний подвергается сокращению, которое охватывает и другие номинации, определяя обозначаемое по названию соответствующих букв полного наименования *ПэТэР* – проти-

вотанковое ружье: *отделение ПТР, расчет ПТР, взвод ПТР, рота ПТР*; например: "...младший лейтенант Кандаков из *ПэТэеР* два танка немецких подбил" (Комс. правда. 1942. 9 дек.).

На базе сокращенного именования стрелкового оружия (*ПэТэеР*) возникают разговорные обозначения бойцов по отношению к этому оружию и к подразделению, на вооружении которого находится *ПэТэеР*. Запомнились слова популярной песни, которую распевали бойцы подразделений противотанковых ружей:

Я *пэтэеровцем* родился,
В расчете огненном возрос.
Я *бронебойкою* крестился
И схватку с танком перенес.

Противотанковое ружье само по себе было необычным, поэтому оно породило в солдатской (фронтовой) среде немало параллельных обозначений, в которых нашло выражение отношение бойцов к этому оружию. В самом деле, это оружие было не индивидуальным, а групповым (оно обслуживалось расчетом: первым и второй номером); кроме того, боевое назначение оружия было иным (против бронированных целей). Более того, внешний вид его был таким, как у привычных винтовок и автоматов.

Поражающие свойства противотанкового оружия (оно пробивает, бьет броню) содействуют становление параллельного обозначения – *бронебойное ружье*: "Подразделение ошетинилось *бронебойными ружьями*" (Известия. 1943. 19 марта). Появление нетерминологического, разговорного наименования, возможно, определялось прозрачностью внутренней формы определяющего компонента (*бронебойный*), а также давлением словосочетаний, в составе которых было то же прилагательное: *бронебойная* пушка, *бронебойный* снаряд, *бронебойная* бомба.

В общении фронтовиков вторичное обозначение (*бронебойное ружье*) подвергается стяжению, преобразуя раздельно оформленную номинацию в просторечный эквивалент *бронебойка*: "Бойцы встретили приближающиеся танки ураганным огнем *бронебоек*" (Правда. 1944. 25 авг.). Противотанковое ружье в солдатской среде называлось *дегтяревским ружьем* (по имени его конструктора), а также *дегтяревкой*.

Разговорно-обиходные названия обрели популярность в художественных произведениях, в мемуарной литературе:

Там, где встанет *бронебойка*,
Танку не пройти
(Песни Южного фронта. Ростов-на-Дону, 1979).

У тебя – в тылу ль на фланге, –
Сам не знаешь, как силен, –
Бронебойки, пушки, танки, –
Ты, брат, – это батальон.

(А. Твардовский. Василий Тёркин).

От *бронебойки* появляется производное образование *бронебойщик*: “Эффективно действуют *бронебойщики*... вторым выстрелом из бронебойного ружья сбил корректировщик” (Веч. Москва. 1943. 9 июля).

В разговорной речи фронтовиков возникают и шуточные названия противотанкового ружья. В них – представление о стрелковом оружии прежних эпох как символе боевой славы. В самом деле, противотанковое ружье было длинноствольным и тяжеловесным (ружье конструкции В.А. Дегтярева имело вес 17,3 кг, а конструкции С.Г. Симонова – 21 кг). Такое ружье шуточно именовали *мушкетом*, *пиццалью*, *кочергой* и даже ружьем *Петра Великого*. Отношение бойцов к новому виду стрелкового оружия проступает в своеобразии обозначения: «Стрелки подходили, разглядывали противотанковое ружье – огромное, с виду очень неуклюжее, со смешным набалдашником воздушного тормоза на конце ствола. Один остряк немедленно выразился: “Эх, это -да! Ружье *Петра Великого*”. С тех пор так и стали звать это ружье все – ружьем *Петра Великого*» (Правда. 1942. 30 апр.).

Солдата, на вооружении которого было противотанковое ружье, стали называть *противотанкистом*: “Мы решили назначить вас в школу *противотанкистов*, – сказал мне командир. Я был назначен в школу стрелков из противотанковых ружей” (Комс. правда. 1942. 16 мая). Это слово втягивается в ряд разговорных названий солдат, имеющих дело с противотанковым ружьем (*бронебойщик*, *пэтэзеровец*) и уступает свою роль раздельнооформленной номинации со словом *стрелок*: “По тяжелым танкам били *стрелки противотанковых ружей*” (Комс. правда. 1943. 31 июля). Слово *противотанкист*, хотя и указывало на отнесенность лица к названию оружия (сравни: *автоматчик* – автомат, *пулеметчик* – пулемет, *минометчик* – миномет), но все же было предметно не ориентированным, так как боевая деятельность бойца была направлена не против танкиста, а против танка, обладающего совокупностью средств поражения: пулеметным, пушечным огнем, пуленепробиваемостью и мощностью гусениц.

Наименования с опорным словом *стрелок* (*стрелок из противотанкового ружья*, *стрелок противотанкового ружья*) оказались неустойчивыми при взаимодействии со словом *бронебойщик*.

Цепочка параллельных обозначений в сфере разговорной речи (*бронебойное ружье* – *бронебойка*, *дегтяревское ружье* – *дегтяревка*) содействовала становлению пучка обозначений военнослужащих по роду оружия (*пэтэзеровец*, *противотанкист*, *бронебойщик*, *стрелок*

из противотанкового ружья). При этом слово *бронебойщик* вытягивается в конкурирующие отношения с описательным обозначением бойца по роду оружия (*стрелок* + зависимая форма имени с предлогом *из* или без него): “*Бронебойщик* – новое слово, ему отроду всего несколько недель... Слово только рождалось, а лаконичный телеграф продолжал длинно называть сокрушителей танков *стрелками противотанковых ружей*. Но само ружье было новинкой” (Веч. Москва. 1942. 14 июня).

Военно-терминологическое обозначение *противотанковое ружье* в одном и том же тексте соотносится с разговорным словом *бронебойщик*: “Герои-бронебойщики... огнем из *противотанкового ружья* сбит немецкий самолет” (Известия. 1942. 4 сент.).

Слово *бронебойщик* укрепляет свои позиции в контекстах, определяющих специализацию военнослужащих: “Пехотинцы, артиллеристы и *бронебойщики* отражают атаки вражеских танков” (Известия. 1945. 5 янв.). Появляются обозначения подразделений с опорным словом *бронебойщик* (*отделение бронебойщиков, взвод бронебойщиков*): “Вражеские машины смело встретил *расчет бронебойщиков*” (Комс. правда. 1942. 7 июля).

В разговорной речи, публицистических текстах времени Великой Отечественной войны составные наименования взаимодействуют с разговорными эквивалентами; при этом намечается своеобразное размежевание лексических единиц, втянутых в сферу номинации.

Слово *бронебойщик* расширяет область применения и становится основным обозначением стрелка из противотанкового ружья. В Словаре С.И. Ожегова это слово квалифицируется как общеупотребительное и определяется как “стрелок из бронебойного ружья”.

Составное наименование *противотанковое ружье* остается в сфере военной терминологии: “нарезное огнестрельное оружие для поражения бронированных целей на расстоянии до 500 метров” (Военный энциклопедический словарь. М., 1984). Обозначение *бронебойное ружье* подается в “Словаре современного русского литературного языка” как параллельное, сопутствующее военному термину именованное: “противотанковое, бронебойное ружье”. Слово *бронебойка* квалифицируется в “Словаре русского языка” АН СССР как разговорное: “Бронебойное противотанковое ружье”.

Сама же реалья – ручное оружие для стрельбы по бронированным целям – стала достоянием истории: противотанковое ружье снимаются в производства и в последнее время заменены гранатометами (Военный энциклопедический словарь).

Еще раз о шахтере

Л.В. ИПОЛИТОВА

В середине XIX века в русском языке слова *шахтер* еще не было. Для обозначения людей, которые работают на шахте, согласно данным "Горного словаря" Г.И. Спасского, использовались следующие названия: *берггауэр, бергайер, горосечец, горнорабочий, горный работник, рудокон* (Горный словарь, составленный Григорием Спасским, оберберггауптманом 5 класса... М., 1841–1843. Ч. 1–3).

В современном русском языке существует тенденция давать названия профессиям по месту работы, и в нашей речи прочно закрепилось слово *шахтер*.

Появилось оно, по-видимому, в самом конце XIX века. Одно из первых употреблений этого слова в художественной литературе встречается в рассказе В.В. Вересаева "На мертвой дороге" (1898 г.): "Я принимал его за механика, но потом узнал, что он простой шахтер".

К сожалению, в рассказе не помечено место ударения в интересующем нас слове, но можно предположить, что оно падало не на суффикс, как в современном русском языке, а на корень. Именно в такой форме это существительное было зафиксировано в 1909 году в третьем издании "Толкового словаря" В.И. Даля, редактировал которое И.А. Бодуэн де Куртене: "**Шахтер** м., рабочий в шахтах".

Как основная данная форма была представлена и в "Этимологическом словаре русского языка" М. Фасмера, опубликованном в 1958 году в Германии. Именно она открывает словарную статью: «**Шахтер** "рудокон, горнорабочий", также шахтёр, напр. воронежск.» (Vasmer M. Russisches etimologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1958. Bd. III). Таким образом, для М. Фасмера, который родился и вырос в Санкт-Петербурге, но после революции оказался за границей и провел там большую часть своей жизни, ведущим был вариант *ша́хтер*, форма же *шахтёр* представлялась ему диалектной.

Тем не менее она оказалась более перспективной. Ее одну привел П.Е. Стоянов в "Кратком толковом словаре русского языка" в 1913 году, и она была окончательно закреплена как литературная в 1940 году "Толковым словарем русского языка" Д.Н. Ушакова.

Старая форма с ударением на корне оказалась прочно забытой. Она даже не нашла отражения в русском переводе "Этимологического словаря" М. Фасмера, при редактировании которого вариант *ша́хтер* был

опущен, а словарная статья стала начинаться сразу с формы *шахтёр* (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1973. Т. IV).

О старой форме Н.С. Аранова в своей статье “Шахтер” (Русская речь. 1997. № 5), посвященной истории и этимологии данного слова, речи не вела. Автор статьи рассматривает только современную форму, которую выводит из украинского *шахтар*, *-ря*. По мнению Н.С. Арановой, эта форма заимствована русским языком и переоформлена с помощью более привычного для нас суффикса *-ёр*. К сожалению, в своем исследовании Н.С. Аранова не использовала данные третьего издания словаря В.И. Даля и немецкого издания словаря М. Фасмера.

Нам же хотелось внести добавление и предложить другую точку зрения на происхождение этого слова. В данном случае, на наш взгляд, произошло взаимодействие немецкой и французской моделей – явление, широко распространенное в русском языке. Его результатом стали, например, следующие колебания: *бо́ксер* – *боксёр*, *комба́йнер* – *кобмайнёр*, *репо́ртер* – *репортёр*; *гра́вер* – *гравёр*, *ва́хтер* – *вахтёр*. Слово *ша́хтер*, по-видимому, первоначально было образовано в русском языке по немецкой модели – с помощью безударного суффикса *-ер* – от существительного *ша́хта*, ср.: *ва́хта* – *вахтер* (М. Фасмер подчеркивал отсутствие образца для слова *ша́хтер* в немецком языке), но потом оно испытало влияние слов, заимствованных из французского языка с ударением на *-ёр*, и вследствие этого приобрело хорошо знакомый нам вид: *шахтёр*.

Орехово-Зуево,
Московской области

**Тематический указатель статей,
опубликованных в журнале “Русская речь”
в 2001 году**

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Авилова Н.С. Перечитывая “Войну и мир” Льва Толстого (Об ассоциативных связях в тексте романа)	5
Афанасьев Э.С. О “случайных” подробностях в искусстве повествования	2
Бельская Л.Л. “Именные зачины” в русской поэзии XX века	2
Бельская Л.Л. Мотив одиночества в русской поэзии: от Лермонтова до Маяковского	4,5,6
Борисова Л.М. Паузы и антипаузы в драматургии А.П. Чехова . .	1
Владимирцев В.П. О заглавии рассказа Ф.М. Достоевского “Бобок”	5
Гачева А.Г. “Silentium” Ф.И. Тютчева в художественном мире Ф.М. Достоевского	5
Гик А.В. Языковые парадоксы М. Кузмина	6
Грачева И.В. Подтекст пейзажей в “Преступлении и наказании” .	5
Грачева И.В. Язык ассоциаций в творчестве А.П. Чехова	1
Грек А.Г. Пушкинские звукообразы в “Медном всаднике” Вяч. Иванова	3
Гулак А.Т. Развенчанный Тулон (Об одной особенности стиля Л.Н. Толстого)	5
Долгушев В.Г. “Нам бермудорно на сердце...” (Средства создания комического в поэзии В. Высоцкого)	1
Казначеев С.М. “Новый реализм” и язык современной русской литературы	6
Коробова М.М. Двойник – семантический неологизм Достоевского? .	5
Лай Инцюань. Идея юродства в творчестве А. Платонова	6
Лекманов О.А. Анненский и Андерсен о Снежной королеве, о холоде и тепле	2
Лекманов О.А. “Карта будня”	
Лекманов О.А. О луне и реке в “Рождественском романсе” Иосифа Бродского	1
Лекманов О.А. “Поэма без героя” и “Маскарад”	3
Лекманов О.А. Фрагменты комментария к “Крыльям” Михаила Кузмина	4
Матвеев Б.И. Библиизмы в прозе М.Е. Салтыкова-Щедрина	4
Матвеев Б.И. Главная книга Н.А. Ключева, ее жанр и язык	2
Матвеева И.И. Комизм языка персонажей Андрея Платонова . . .	4
Молчанова С.В. Очерк Ап. Григорьева “Великий трагик”: лексико-стилистические особенности	3

Москвин В.П. "Грозой снесенные мосты..."	3
--	---

Филологические беседы

Москвин В.П. Эпитет в художественной речи	4
---	---

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Авилова и Чехов на фоне "Чайки"	1
Дали в Москве	6
О жизни и трудах Ивана Куратова	2

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Бортник Г.В. "Обидная" категория	2
Веселовская Т.М. Кто такие <i>лохи</i> ?	1
Глухих В.М. О наречных предложениях	4
Голосова Т.М. Время событий	3
Зеленин А.В. "Главный штабс-маляр"	1
Зеленин А.В. Новое в старом: <i>белый</i>	5
Золотова Г.А. У языка, как у людей, – свои проблемы	4
Ивина Л.В. Нужно ли бояться "охотников за головами"?	1
Караулов Ю.Н. О состоянии современного русского языка	3
Красных В.И. <i>Военный</i> или <i>воинский</i> ?	3
Красных В.И. <i>Звериный</i> или <i>зверский</i> ?	2
Красных В.И. <i>Игорный</i> – <i>игральный</i> – <i>игровой</i>	4
Красных В.И. <i>Ледяной</i> или <i>ледовый</i> ?	5
Красных В.И. <i>Центральный</i> – <i>централизованный</i> – <i>центристский</i>	1
Крылова О.А. Приветствия и этикет	4
Молдован А.М. О подготовке переработанного издания "Правил русской орфографии и пунктуации"	2
Молдован А.М. Словарь В.И. Даля в редакции И.А. Бодуэна де Куртенэ	6
Попова Е.А. "Тоска по родине, как душевная болезнь"	6
Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале	1,3,4
Шувалова И.Е. Местоимение – вместо имени?	6

Язык прессы

Грачев М.А. В погоне за эффектом (Блатные слова на газетной полосе)	5
Муравьева Н.В. От избытка чувств (О словах меры и степени) ..	1
Николаева А.В. Когда не все средства хороши	3
Николаева А.В. "Фифект фифции" на газетных страницах	1

Из архивных источников

Грачев М.А. Забытая рукопись	3
---	---

Язык рекламы

Клушина Н.И. Аргументы в рекламе	3
Клушина Н.И. Восприятие рекламы	1
Клушина Н.И. Искусство обольщения	4
Постнова Т.Е. “Страсти по мехам” и “Кошмар на улице Вазов”	6

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКОВЕДЫ

Ильинский Григорий Андреевич. К 125-летию со дня рождения	2
--	---

ИЗ АРХИВА УЧЕНОГО

Дурново Н.Н. Воспоминания о Московской диалектологической комиссии. К 125-летию со дня рождения	5
--	---

ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ

Бабурина К.Б. Сырой и суровый в письменных памятниках XI–XVIII вв.	3
Баранкова Г.С. Проблемы фольклористики в трудах членов Московского лингвистического кружка	4
Воротников Ю.Л. Круг чтения наших предков: “Физиолог”	3
Горская Е.В. Псковский говор начала XIV века	6
Державин А.М. Дмитрий Ростовский	6
Добродомов И.Г. Новгородское слово в Ширазе XV века	3
Журавлев А.Ф. Сущест пеку, или Как лечили худосочие 3	3
Ильяшенко Т.А. Евангельские купели (Библеизмы у Н.С. Лескова)	1
Крипичная Н.А. “Почитают ее приворотною травой...” (О колдовских растительных атрибутах)	5
Наумов О.Н. Герб и геральдика: взгляд историка	1
Наумов О.Н. Из истории геральдической терминологии в России	2
Солодкин Я.Г. Митрополит Дионисий – “премудрый граматик”	4
Трофимова Н.В. Речь персонажей в летописных воинских повестях	3
Туманова О.Т. Растения в текстах Библии	4
Харитонов Ю.В. Любослов о русском языке	2
Шацкая М.Ф. Договор, трактат, пакт	6
	1

Из истории политического лексикона XX века

Зеленин А.В. Слова с приставкой <i>анти-</i> , <i>противо-</i> в эмигрантской публицистике	3
---	---

РУССКИЕ ГОВОРЫ

Шульгач В.П. Курындыш	1
-----------------------------	---

ОНОМАСТИКА

Королева И.А. Из истории термина <i>фамилия</i>	5
Суперанская А.В. Неофициальные формы русских личных имен ..	1

Топонимика

Бойцов О.Н. Путь “из варяг в греки” в топонимии Смоленского края	5
Гордова Ю.Ю. “Из земли Залеския в поле Половецкое...” (Термин <i>поле</i> в топонимии Рязанской “украины”)	5
Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России ..	1,2
Шилов А.Л. Вишера	1
Шилов А.Л. Соловки.	3

ПИСАТЕЛЬ И ФОЛЬКЛОР

Ауссем И.А. В.И. Даль-сказочник	6
Грачева И.В. Гром в праздничный день	2
Марацман В.Г. Сотворение сказки	3
Медриш Д.Н. К истории одного пушкинского образа	1
Савельева В.В. Сказочно-мифологические мотивы “Островитян” Н.С. Лескова	4
Юрчишко З.В. “Сказка о золотом петушке” А.С. Пушкина во французском литературном и фольклорном контексте	1

Заметки текстолога

Фесенко Ю.П. К творческой истории “Сказки о Георгии Храбром и о волке” В.И. Даля	6
--	---

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

Арапова Н.С. Сорванец	2
Арапова Н.С. Стаж	3
Васильев В.Л. Почему врёт <i>сивый мерин</i> ?	4
Григорьев А.В. <i>Иудин поцелуй и иудино лобзание</i>	4
Григорьев А.В. Можно ли <i>целовать</i> намерения?	3
Демьянов В.Г. Шербет	6
Добродомов И.Г., Валеев Г.К. Три жизни <i>карандаша</i>	1
Дядечко Л.П. Положить душу свою за други своя	4
Зеленин А.В. Сороконожка	4

Кругликова Л.Е. Дубина стоеросовая	5
Кругликова Л.Е. Дураки бывают разные	4
Шустов А.Н. Ряха – не только щеголиха	3
<i>За знакомой строкой</i>	
Добродомов И.Г. “Ямщик сидит на <i>облучке</i> ...”	5
Долгушев В.Г. “...И пунша пламень голубой”	2
Ковалева Е.В. “Бабковая” мазь, “бальзан” Кир Аншид и “гаремские” капли	5

ПОСТУПАЮЩЕМУ В ВУЗ

Зданкевич В.Г. Безударные <i>И</i> и <i>Е</i> в падежных окончаниях существительных единственного числа	3
Зданкевич В.Г. О синтаксической многофункциональности <i>И</i>	4
Озеров Ю.А. Помощь или медвежья услуга?	2

СРЕДИ КНИГ

Алиатов В.М. История лингвистических учений	6
Бондалетов В.Д., Самсонов Н.Г., Самсонова Л.Н. Старославянский язык	3
Голуб И.Б. Основы красноречия	4
Горбаневский М.В., Караулов Ю.Н., Шаклеин В.М. Не говори шершавым языком	2
Макаров В.И. “Такого не бысть на Руси прежде”. Повесть об академике А.А. Шахматове	2
Молдован А.М. “Житие Андрея Юродивого” в славянской письменности	4
Поспелова Г.М., Лимонтов Л.Я. Московский дом	2
Словарь обиходного русского языка Московской Руси (XVI–XVII вв.) .	5
Формула круга. Сборник к юбилею профессора О.Г. Ревзиной . . .	1

ПОЧТА “РУССКОЙ РЕЧИ”

Еськова Н.А. Еще раз о <i>мире</i> и <i>міре</i> и о “Войне и мире”	2
Ипполитова Л.В. Еще раз о <i>шахтере</i>	6
Кожин А.Н. “Лик” ружья в слове солдата	6
О знаке ударения и букве <i>ё</i>	3
Скворцов Г.Ю. Заимствования: опыт тевтонского соседа	5
Хан-Пира Эр. “Какая плевательница поехала!”	2
Шустов А.Н. Некоторые уточнения к Словарю	3

ХРОНИКА

К 75-летию Древнерусской рукописной картотеки XI–XVII вв. . . .	2
Международный семинар в Смоленске, К 110-летию со дня рождения Е.Д. Поливанова	5